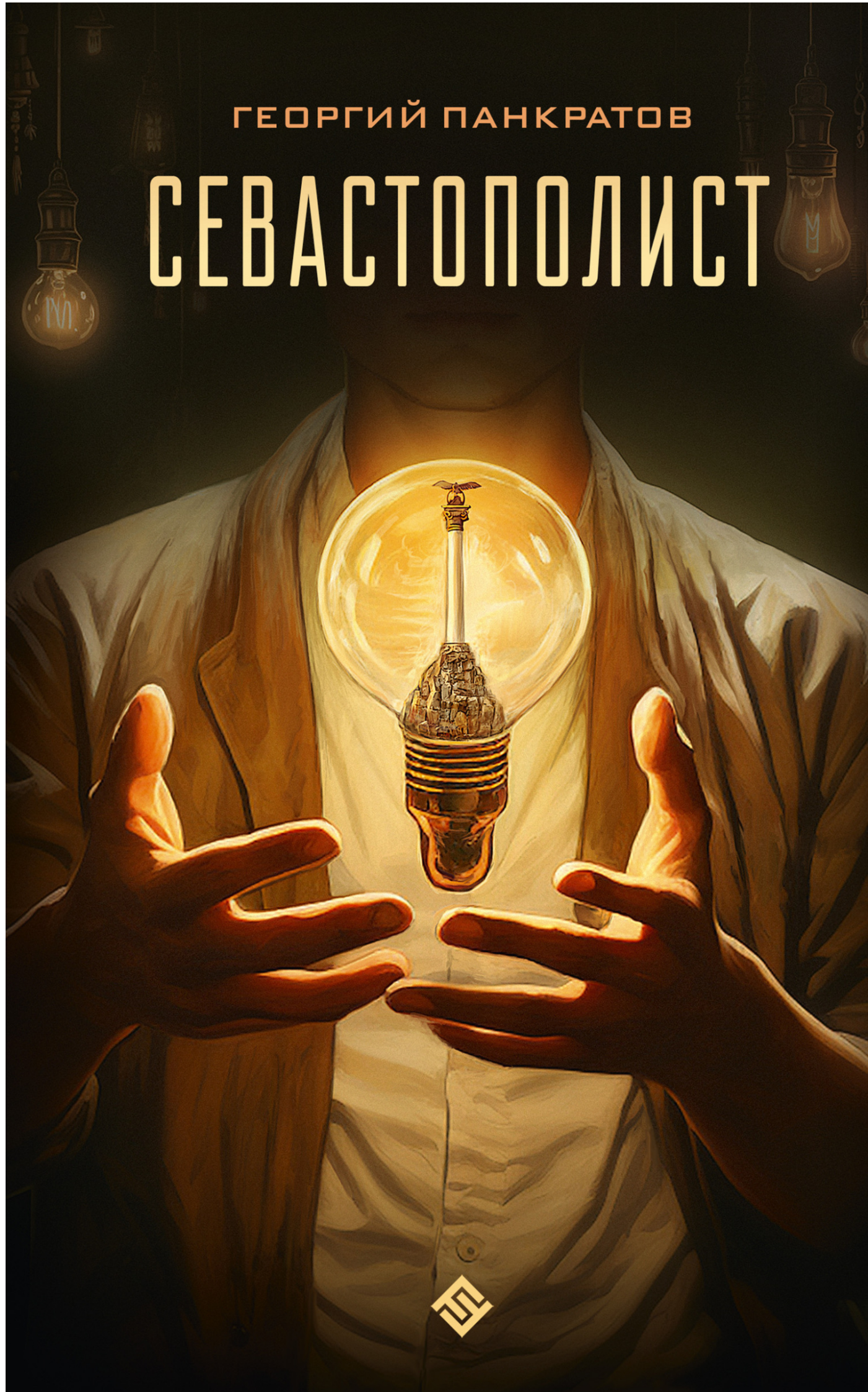


ГЕОРГИЙ ПАНКРАТОВ

СЕВАСТОПОЛИСТ



Фантастика Будущего

Георгий Панкратов

Севастополист

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Панкратов Г.

Севастополист / Г. Панкратов — «Издательство АСТ»,
2021 — (Фантастика Будущего)

ISBN 978-5-17-159385-8

Добро пожаловать в Севастополь — единственный город в мире, город, где все смотрят в небо. Здесь, в двухэтажных домиках с тенистыми садами, царит мирная беззаботная жизнь без каких-либо бытовых проблем. Из города нет выхода, но жители счастливы и не стремятся его покинуть. А на горизонте, у линии возврата, возвышается Башня, и никто не помнит, зачем она построена и что там находится. Пятеро друзей — Фиолент, Евпатория, Инкерман, Феодосия и Керчь — получают приглашение переселиться в Башню и начать там новую жизнь. Молодые люди давно томятся скукой родного города и мечтают найти ответы на свои вопросы о мире. Они с радостью поднимаются в Башню, хотя знают, что ни один из них оттуда не вернется.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-159385-8

© Панкратов Г., 2021
© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Пролог	6
I. Город	9
Пустырь	13
Фе и Фи	22
Мама	30
Прибытие	33
II. Новая жизнь	43
Шум	45
Электроморе	50
Никита	61
Сопутка	69
Супермассивный холл	76
Преображариум	81
Это не было небо	88
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Георгий Панкратов

Севастополист

© Георгий Панкратов, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Художественное оформление Василия Половцева

* * *

Посвящаю эту книгу маме и благодарю Абдулаеву Ю. за помощь и терпение в трудные дни

Пролог

Имя мое Фиолент, и однажды я понял, как сильно устал от жизни. Нет, не от жизни вообще. А от такой, какая была у меня там, внизу. Какая была у всех нас.

Вы не слышали такого имени – Фиолент? Да что говорить, оно и у нас было редким: с трудом вспомню хотя бы пару людей с одинаковыми именами. Было не принято? Или фантазии хоть отбавляй? Нет, все гораздо проще. Теперь-то и я знаю, что все – в принципе все – проще. Ну а тогда...

Ладно, закончим с именем, чтобы не мешать рассказу. Не помню, кто мне его дал. Когда я вышел в мир, мои *недалекие* отправились в Кладезь – так делали у нас все. Эта служба называлась слишком дико, чтобы произносить вслух: что-то вроде «Кладезь вновь воссозданных и восстановленных вариаций предписания природы человеческой», в общем, чушь на постном масле. Недалекими у нас называли всех, кто жил под одной крышей; в моем случае это были люди, по чьей воле и чьими стараниями я вышел в мир – мама с папой, но многие включали в этот круг и тех, благодаря кому вышли в мир сами их недалекие, и даже соседей из ближайших дворов. Едва среди них появлялось прибавление, как начинались первые хлопоты: дойти до Кладезя, оставить запрос. Хлопоты приятные, волнительные: никогда ведь не знаешь, что этот Кладезь выдаст.

Моим маме и папе выдали официальный конверт, вскрыв который, они и увидели имя. Мое имя. Кто дал – они и не помнили, а я никогда не знал: почему Фиолент, почему не другое? У нас ведь много имен, и никто не знает, что все они означают. Это потом мне рассказали, что в далекой древности были другие – ветхие, как мы их называли – имена, которые имели смысл: «гордый», «статный», «смелый»... У нас же, внизу, все просто: Фиолент. И это означает Фиолент, ничего больше.

Одно знаю точно: будь у меня ветхое имя, оно точно не означало бы «скромный». Скорее уж «сильный» – все, кто со мной водился, знают, а кто не водился – так поэтому и не водились. Ну и «красивый» – так девчонки говорят, а им-то, конечно, виднее. Я любил садиться в свой большой автомобиль с открытым верхом и катать их. Красавицам это нравилось, да и некрасавицам тоже. Некрасавица в нашей компании была только одна, и это точно не моя машина! Все любили ее, и никто не завидовал мне – это потом я узнал, что такое зависть. Позже. И выше.

Такая машина не то чтобы считалась у нас редкостью – при желании любой мог владеть ей. Я точно знаю, что в городе есть места, где стоят такие же. Но никто не хотел, кроме нас, нескольких отщепенцев. Там, внизу, все живут в своих двухэтажках – домиках, которыми застроен город. Рождаются и отмирают в них, а в промежутках между этими двумя событиями выращивают что-то во дворах. И вечерами сидят на складных стульчиках лицом к небу, любуются им в окружении кустов и цветов под бледно-синим полотном неба, нависшего над нашим городом. Так живут все, и наши молодые жили так, и молодые с жильцой, и пожившие, и пережившие. И я, бывало, полол наши грядки, пока не хотелось упасть без сил. Любовався бледными цветами, проросшими на тонких стебельках из рыхлой, сухой земли – они тянулись к щекам моим, к носу, словно ластившаяся кошка. Я любил их, лелеял и не жалел для них сил, как любил все плоды труда нашего – меня и людей, подаривших мне эту жизнь, этот город. Все было невероятно вкусно – все эти овощи, фрукты, выросшие из косточки, выросшие из маленького неокрепшего стебелька до сильного ствола, стремящегося ввысь, под синее полотно.

Вот только одного я не любил – смотреть в него, полотно это. В чем было удовольствие для города – застыть, замолчать, уставив взгляд ввысь? Я жил в горизонтальном мире, смотрел вперед и по сторонам, хотя и знал, что впереди лишь *линия возврата*, а справа, слева – бесконечные дворы, прямые улицы, ровные квадратные перекрестки одинаковых жизней, одинако-

вых домов, одинаковых *небосмотров*. И лишь где-то там, далеко за ними – высокие обрывы и бездонное, равномерно колышущееся, как диафрагма спящего, море.

Впрочем, это пешком – далеко, а на машине... Мы знали о городе, где родились, все – впрочем, все, ну, или почти все, что можно о нем знать, теперь известно и вам. Огромный, огромный город, словно разделенный спущенным сверху гигантским зеркалом на две равные и одинаковые... нет, почти одинаковые половины. Если представить – а кто, кроме нас, фантазеров, еще мог такое выдумать? – что город вдруг станет возможно согнуть по разделительной линии, его две части совпадут друг с другом, накроют друг друга, сложившись дом к дому, дворик к дворику, маленькая улочка к точно такой же маленькой улочке, а линия обрыва – к линии обрыва: что выдуманная, что настоящая, возле которой мы так любили стоять, глядя в даль. Или в то, что ею казалось.

Но пожелай мы назвать ту самую линию, по которой столь просто «сложили» город, нам бы не пришлось делать этого, ведь имя уже было, и, подозреваю, происходило оно все из того же Кладезя – и вправду, кто еще мог придумать такое: Широкоморское шоссе? Центральная ось, магистраль города. Приди он в движение – продолжим фантазию – наверняка бы вращался вокруг этой оси, как мясо на шампуре. О, это было еще одним излюбленным развлечением наших уютных зеленых дворов!

Мы просто знали, что шоссе Широкоморское – и все. Но почему шоссе? Да и вообще, что это слово значило? Ведь других шоссе в нашем городе не было, а бесчисленным улочкам, отходившим от него, никто не давал названий. По ширине они были такими же, что заставляло усомниться в справедливости первой части названия, на них стояли – и, я уверен, стоят – одинаковые дома.

Но что впечатляло – так это его протяженность. Одной стороной Широкоморское шоссе, оправдывая вторую часть своего названия, упиралось в море. Ведь город омывался морем с двух сторон, как я и говорил, и в точке, где линии обрыва и воды должны были слиться, шоссе вдруг оборачивалось лестницей, сужавшейся ближе к воде. Спустившись по ней, можно было попасть на длинный мол и долго идти по узенькой тропке, обложенной по краям валунами, между двух морей. На самом-то деле море, конечно, одно, но как Широкоморское шоссе режет надвое мой город, так и узкий бетонный мол вспарывает водную гладь. Смотреть налево, когда идешь к маяку, было приятней – то было море для отдыха; в нем купались. Его и называли так: Левое море, считалось, что город, словно стрела, устремляется в море, хотя, если смотреть по карте, мол с маяком находились внизу, а значит, Левое море должно было быть Правым... Когда я говорил об этом нашим горожанам, те лишь пожимали плечами, особенно пожившие и пережившие. «Какая разница, – говорили они мне, – где в самом деле право или лево, когда так хорошо и спокойно жить?» Я неуверенно кивал, пытаюсь согласиться, хотя и не понимал, что это значит – жить беспокойно. Разве жил когда-нибудь наш город беспокойно?

– А в Башне? – спрашивал я вскоре после того, как появился. – В Башне живут беспокойно?

– В Башню приглашают лучших. Только они знают, как там живут. Но они не расскажут. Потому что мы их больше не увидим.

На этом разговор о Башне прекращался – никто не любил говорить о ней, да и что обсуждать то, о чем никто не знает. Вот где точно царило спокойствие, и о том в городе знали все, – так это в Правом море. Если Левое море предназначалось для обычного отдыха, Правое было для отдыха вечного. Пожившие и пережившие, закрыв в последний раз усталые глаза, отправлялись напрямик туда – летели с Обрыва прощания, под крики напутствия и благодарности. Прощания сопровождалось особым, траурным небосмотром, длившимся столь долго, что я не выдерживал и убегал. Даже выращивать цветы и вспахивать огороды переставали, и говорить друг с другом – тоже. Останавливалось все. Я уходил к Левому морю, чтобы скорее забыть о

Правом. Я еще только начинал жить, и мне не хотелось думать о том, что когда-нибудь... Да и теперь мне не хочется думать об этом.

В известном смысле мол был границей между живым и мертвым, и, идя по нему, можно было размышлять о бренности людей, о приходящих и уходящих, накатывающихся, словно волны, наших жизнях... Но никто не думал. Все знали: станешь пережившим – и тогда поймешь. Пережившие всегда говорили: «Уходить не страшно... Меня ждет море, а я уже жду его...» – вот что они говорили. Они уставали от жизни и закрывали глаза – *отмирали*, как говорили у нас. А у вас говорят так? Кто знал, что я устану раньше – гораздо раньше, чем стану пожившим, не говоря уже пережившим... А отмереть, не достигнув последней стадии, как вы, наверное, знаете, невозможно. Что оставалось? Только веселиться.

I. Город

Вообще, пройти по молу между морями можно хоть до самого конца, вот только смысл? Вряд ли это путешествие открыло бы и без того нелюбознательным нашим людям что-то новое и удивительное. Все знали, что рано ли, поздно ли ты упрешься в высокий, в три человеческих роста, забор, за которым возвышается гигантская глыба каменного маяка. А дальше можно стучать в проржавевшую дверь, кидать в нее камни, хоть биться лбом – никто тебе не откроет. Смотритель – для того, чтобы смотреть, а не вести беседы с посторонними. Да, в маяке живет смотритель. Разве я еще не говорил?

Что можно рассказать о человеке, которого никто и никогда не видел – только тень, силуэт в его высоком окне, словно парящем над морем и городом? Но, справедливости ради, мало кому была интересна эта загадка. Город жил своей собственной жизнью, утопая в зелени дворов, трудах, коротких небосмотрах. Какое ему дело до смотрителя, живущего своей? А у нашей веселой компашки было полно более интересных занятий, чем караулить человека, выбравшего себе одинокую, тихую жизнь. Быть может, он и выходил, в каком-нибудь сером плаще, с седой бородой до земли – почему-то мне всегда казалось, что это должен быть человек *переживший*, – медленно шел по мокрому молу, бурча себе что-то под нос, поднимался по лестнице, ступал на Широкоморку, щурился... Где-то же он должен добывать себе еду? Вряд ли там, за забором, у подножия маяка росли огурцы и капуста, да и вообще наши городские дела совсем не вязались в наших головах с его отшельническим образом... А это значит, что смотритель выходил в город. Шел по тем же, что и мы, улицам, проходил мимо наших кали-ток, ездил в наших троллейбусах, держась за те же поручни, сходя на тех же остановках. Да, о смотрителе нечего и говорить... Так думал я внизу. Не сомневался.

Иногда я пытался представить, глядя на далекую вышку маяка (ее верхушка была видна отовсюду, почти из любой точки города, из любого двора), что он видит, куда смотрит, за чем наблюдает? На первый взгляд, все просто: ведь маяк стоит на самом краю мола, значит, в море? Значит. Но не в море. В городе были причалы: навесные лестницы с левого обрыва вели к морю, и все, кто хотел, могли взять лодочку и прокатиться по воде. Доплывали и до мола, сбавляли ход, осторожно шли к маяку. И возле него самого уже зажимались, словно бы никто до них не бывал здесь, не пытался обойти маяк. Но, открыв глаза, они видели привычную картину: забор, окружавший маяк, удлинялся, вытягивался, и за одним маяком появлялся, словно выскочив из-под земли (или из воды, все же море!), новый, точно такой же маяк. Никто не успевал опомниться, как обнаруживал вдруг, что это не справа, а уже слева мол – вместе с маяком, забором и валунами, и не позади, а впереди по курсу огромный наш город, белые каменные ступени к Широкоморскому шоссе. Никто не успевал понять, уловить миг, когда же она была пройдена – линия возврата.

Все объяснялось просто: уловить этот миг невозможно. Все знали про линию вокруг города – это была граница, возвращавшая нас каждый раз домой, словно блудных сыновей, сбившихся с правильного пути. Люди жили вдали от линии – с трех сторон она проходила по морю, и только с одной – на севере – по суше. До северной границы не ходили пешком – далеко, да и незачем. Возле нее не строились, да в нашем городе не строились вообще: все жили сообща со своими недалекими, в своих зеленых дворах. Возле северной границы и стояла та самая Башня.

Ходили слухи, что смотритель в ней бывал. И – единственный из всех живущих – вновь возвращался в город. Чтобы спрятаться в своей крепости. Отмирал ли смотритель? – что за вопрос, в конце концов, ведь все люди отмирают – и кто сменял его? Откуда этот «кто-то» появлялся? Такие вопросы были слишком сложны в нашем простом и, в общем-то, добром городе и редко кого занимали. До поры меня интересовало лишь одно: что он видит там, на

линии разрыва, бесконечно всматриваясь вдаль? Такой же маяк напротив, только пустой? Или море, как все мы, – бескрайнее море за маяком, которое не переплыть, не изведать? Я долго смотрел вдаль, пытался представить. И не представлял.

Среди тех, кому вообще было дело до смотрителя, ходили слухи, что он видит то, что за линией. Те, кто такое говорил и в это верил, были все как один похожи друг на друга: нервные, худые, они ходили в старых одеждах и обгрызали ногти, постоянно озирались по сторонам, избегали транспорта, да и вообще не появлялись лишней раз на улицах. В хозяйстве от таких, как правило, тоже толку было немного. Эти люди твердили, что за линией возврата есть некий другой мир, в который нас не пускают и в который нам не особо-то надо... «Но сам факт», – говорили они, повышая на этих словах голос. Говорили о том, что секретные тоннели под землей ведут в другие города, что мир не оканчивается Севастополем... Мне было жаль этих людей. Им стоило бы следить за собою, тогда, возможно, и мысли пришли бы в порядок. Один из таких жил по соседству с нами, через два дома. «Смотритель видит, что там дальше», – бормотал он. «Конспиронавт хренов», – отмахивались мои недалекие.

Однажды он исчез, и я спросил недалеких, что с ним. Ответ папы меня удивил.

– Его пригласили в Башню.

– Но туда же зовут только лучших! – помню, воскликнул я. – Самых достойных.

– Что ж, – пожал плечами папа. – Значит, и среди конспиронавтов такие есть.

Признаться, моим недалеким не было дела до Башни – как и всему городу в целом. Никто не стремился быть приглашенным и не завидовал им. Башня была данностью, о которой каждый узнавал, приходя в этот мир, и которую уносил с собой, падая с обрыва в море мертвых. Башня существовала в абсолютном, непоколебимом измерении, в отличие от всех нас, горожан, появлявшихся и исчезающих. Такой же данностью был и маяк смотрителя. Мне казалось, что это просто красиво: в городе есть маяк, а в маяке – смотритель. Ведь город начинался здесь. Как световой пучок из одной точки, вырывался он в реальность, утверждал себя, раскидывался во все стороны.

– А вдруг это Точка сборки? – сказал я однажды друзьям. – Весь город собирается здесь, весь наш мир стремится к ней, вливается в нее.

Мы сидели на молу и кидали камешки в воду, соревнуясь в скорости. Справа от меня полулежала, маня своим прекрасным телом, красавица Евпатория, и ветер трепал ее золотистые волосы. Крепыш Инкерман стоял за моей спиной и замахивался.

– Конечно, стоя ты меня уделаешь, – заметил я. – А ты попробуй сидя.

Помню, как он увлекся тогда – даже не стал кидать камень, присел рядом, взволнованно заговорил:

– Я, кажется, понял тебя. Это как выключить лампу в погребе, да? Ведь свет – он не принадлежит себе, его хозяйка – лампа. Она как бы выпускает его погулять. Ну, как тебя в детстве мама.

Мама была главной из всех недалеких, сколько бы их ни было; ближе к ней стоял папа, а уже вокруг них – у кого были – все остальные. Со словом мамы не спорили, а если и пытались, это было бесполезно: не пустила – значит, не пустила. Разговор с мамой – очень короткий, даже у папы. Так уж у нас было принято.

– Мальчики, вы такие глупости говорите, – развернулась к нам Евпатория. – Но такие красивые глупости...

– Была бы здесь Фе, она б поддержала, – заметил я.

– Была бы здесь Фе, ты говорил бы другие глупости, – рассмеялась девушка.

– Тори, послушай. – Инкер напрягся, словно боясь потерять мысль. Или, вернее, свет своей мысли.

– Вся во внимании, – Евпатория расплылась в улыбке.

– И вот этот свет, который заливает черное пространство погреба, лампа, выключаясь, как бы зовет домой. Она собирает его – свет ведь не просто исчезает, он собирается обратно, в лампу.

– Ну, примерно, – кивнул я. – Так и маяк, может быть, собирает город. И однажды мы все соберемся в точку – в эту исходную точку.

– Но зачем? – удивилась девушка.

– Мы с Фи думаем, что так был создан наш город, – сказал Инкер. – Он вырвался из маяка, словно пучок света из лампы. Но ведь любая лампа гаснет, и тогда...

Знали ли мы, что еще не раз вспомним тот разговор о лампах? Что это совершенно из ниоткуда взявшееся в наших головах сравнение получит удивительное и невероятное продолжение? Ну конечно же нет.

– Никто не знает, как был создан город, – возразила Евпатория. – Но Точка сборки – это, пожалуй, красиво. Пусто, но красиво. А я – за красоту.

– Согласен, – улыбнулся Инкер и, присев, попытался обнять девушку. – Тем более за такую, как твоя.

Я вздохнул, наблюдая за ним. Инкерману здесь ничего не светило – уж я-то знал точно, что он совсем не в ее вкусе. Евпатория отстранилась и нахмурилась.

– Давайте так и будем говорить теперь: Точка сборки, – предложил я. На самом деле просто хотелось прервать неловкое молчание. – Ну, в нашей компании.

– Точно! – подхватил Инкерман. – И пусть все гадают, что это. Мама, я на Точку сборки... Точку сборки? Сынок, а это не опасно? – Он захохотал.

Помню, отсмеявшись, я спросил тогда:

– Но если маяк – Точка сборки, что же тогда делает смотритель?

– Как что? – удивился Инкер. – Собирает.

– Тогда его правильнее называть собирателем, а не смотрителем. И что будет, если он вдруг пожелает разобрать город?

Инкерман долго смотрел в сторону маяка, сложив на груди руки. А потом не выдержал и прыснул со смеху.

– Нет, – сказал он тогда. – Так мы до такого договоримся... Ну его нафиг, ребят...

Я и теперь смогу рассказать о смотрителе совсем немного. Все, что стоит о нем узнать, уместается в нескольких словах. Скажи кто-нибудь их мне тому, беззаботно прожигавшему жизнь, я бы просто не понял. Не поймете и вы, так что я их скажу позже. Да и не главный он в этом рассказе, смотритель. Главный в этом рассказе – я. Так уж вышло, я этого не хотел.

Странно все это объяснять – никому внизу и в голову бы не пришла такая мысль: рассказывать о городе, в котором ты живешь. Зачем? Ведь все и так знают – и о городе, и о городской жизни. Уже в *ласпах*, куда водили нас, едва научившихся говорить, недалекие, чтобы мы не мешали их тяжелой работе, нам объясняли, что нет городов, кроме нашего. Об этом говорили нам, только вышедшим в мир, глубоко пережившие, не способные уже к чему-то большему, кроме как присматривать за нами, севастопольцы. Поживее было в *артеках* – туда мы поступали, покрупнев и окрепнув в ласпах: там пожившие и люди с жильцой учили нас жизни и знаниям, рассказывали о былом нашего мира, но мы уже и сами начинали соображать, собственными головами. К тому же в артеках мы не только кучковались в тесных комнатах, внимая скучным речам, но иногда отправлялись гурьбой к самым важным местам города. Линии возврата со всех сторон Севастополя убеждали в том, что наш город единственный, крепче любых разговоров. Да и вправду, о чем говорить еще, когда несколько раз пройдешь линию туда и обратно: все ведь понятно, все очевидно.

Но после всего, что случилось со мной и о чем будет эта история, сложно молчать. Я знаю теперь: есть что-то еще. Что за место, куда я попал, мне лишь предстоит выяснить. Но сначала нужно ответить: откуда я? У вас ведь всегда так спрашивают... Я бы вернулся в свой

город, но дороги туда нет, или просто о ней не знаю; скучаю по своему городу, и с той самой поры, как меня разлучили с ним, нет слаще слова, чем его имя, означавшее с тех самых пор, как я впервые открыл глаза, мир.

Я из Севастополя. Единственного города в мире.

Пустырь

В компании нас было пятеро. Нет, как это со всеми бывает, конечно, к нам прибивались и новые люди – знакомились с кем-то, общались. Но почему-то их хватало ненадолго – возвращались к своим огородам, придумывали что-то: мол, потом, заняты; а сами вновь садились на крыльце смотреть в бесконечное небо. Я не осуждал их – у каждого свой интерес. Но вот они... те, кто не желал ничего, кроме тихой жизни, не тревожил себя впечатлениями, никогда не бывал у моря и не гулял возле Башни, не проходил возвратную линию, не катался, в конце концов, ни на чем, кроме троллейбусов и скучной нашей ветки метрополитена, протянутой в точности под Широкоморским шоссе... У них и не было мысли о том, что они теряют что-то в жизни – или попросту не видят. Многие смотрели на нас косо, когда мы возвращались уставшие с прогулки – небольшого городского приключения, заряженные друг другом, неизвестными им впечатлениями, пропитанные воздухом городских границ...

– Опять катались? – слышал я усталый, но беззлобный вопрос что от своих недалеких, что от соседей и знакомых. Бывало, я им рассказывал, спеша, давясь от удовольствия, жестикулируя, о том, как прекрасен наш город в его отдаленных краях, о маяке и лодках, о том, как чист и опьяняющ воздух, когда ты мчишь на скорости к краю света, и мелькают чужие дома, подземные переходы, светофоры, а ты летишь... Как замечательны друзья мои, как трепетно и жадно впитывают они данный нам всем общий мир, как любят его и друг друга... Но случилось так, что усталость поселилась и во мне. Я смотрел в их глаза и понимал, какой их устроит ответ: молчаливое согласие, кивок.

– Ну типа того, – произносил я.

– Когда же вы успокоитесь? – говорили каждому из нас. – Что же вам не сидится, в небо не смотрится?

Мы были другими и понимали это, но почему так получилось, я никогда не знал. Нас нашлось немного на этот огромный город, мы старались держаться вместе. Мы не были против кого-то, мы были *отдельно*. Я знал, что где-то есть еще компании – такие же, как мы. Но мы не объединялись, ведь мы хотели лишь дружить и наслаждаться жизнью, а не давать кому-то отпор, не доказывать что-то.

«Без жильцы в голове, что с них взять», – иногда говорили про нас. Но мне не казалось, что дело в этом. Да, в таких компашках типа нашей собирались молодые. Ну, иногда молодые с жильцой; людей других возрастов, столь же беспечных – хотя почему беспечных? просто любивших беспечный отдых, – я, откровенно говоря, не встречал. Но ведь и молодые редко понимали нас. Труд во дворах и небосмотры – все, что у них было. И все, что им было нужно. Ну и пожарить мясца иногда: свинок да курочек разводило у нас большинство, если не весь город. Они были и у нас, конечно. Но я, например, больше любил цветы.

Мне вообще хотелось романтики. Самой простой: прокатиться до конца шоссе или съездить к морю, полежать, искупнуться, доплыть до линии возврата на спор: кто первый. Вообще, я быстрее всех плавал – мы все умели с детства, но я наловчился: хотелось быть первым всегда, в любом деле. Мне было важно побеждать. В чем я еще мог побеждать? Помню, это было так смешно всегда: плывешь, и ребята сзади тебя – пыхтят, догоняют – и вдруг начинают плыть навстречу... Ты оборачиваешься – а сзади никого. Все, можно расслабиться: линия пройдена, ты победил, парень!

То ли дело – на шоссе. Несешься по бесконечной дороге, и где-то над тобою небо, а ты счастлив оттого, что ты – это ты, что все это есть, что рядом с тобой друзья, что жизнь – жизнь торжествует в каждом глотке воздуха, в каждом взмахе руки... И вот кончаются дома, ты пролетаешь спуск в последнюю станцию метро – а вдоль шоссе они чуть ли не на каждом перекрестке – и гигантская растяжка над дорогой:

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ

остается за спиной. Я никогда не понимал, почему наш город закрытый? Город-гигант, раскинувшийся гордо на ровной и плоской земле. Закрытый от чего? Быть может, от таких, как мы? А может быть, от понимания – какой он есть на самом деле, зачем он... И зачем в нем мы все. Троллейбусные провода сворачивали в обе стороны от дороги, чтоб расползаться, разветвляться по одинаковым улочкам, связывать своей сетью одинаковые дома и... нет, не одинаковые, конечно, но столь похожие жизни.

Закрытый город... Я задумался об этом слишком поздно. И вот теперь – мой город закрыт для меня.

В одну из последних наших поездок перед тем, как привычная жизнь вдруг стала совсем другой... Да что там в одну из последних – в последнюю: я же ведь помню, это с нее началось все. Нам захотелось простора, и мы укатили на север. В тех краях уже не было города – хотя это все же был он; там росли низкие сухие растения с выпцветшими цветками и колючками: им не хватало влаги. Порой мы чувствовали себя на улицах Севастополя, в собственных дворах, погруженные в привычные свои будни, так же, как эти кусты. За ними никто не следил, они росли дико и – вот парадокс! – могли бы на этих полях разрастись, захватить их, укрепнуть, устроив здесь свое царство, но вместо этого лишь вяло колыхались над землей унылыми стебельками. Словно бы они могли расти, но отчего-то не хотели.

Тогда я удержался от того, чтобы сравнить нас с этими кустами: в компании не очень-то любили эти шутки, и, едва я заикался о кустах или кивал в их сторону, все начинали кричать, шуметь, шутить, затыкать мне рот – в общем, отвлекать. Я ухмылялся, глядя в зеркало на пустую дорогу, что раскатывалась за нашей яркой машиной пыльным, будто плохо выбитым усталыми горожанами ковром. «Ладно, ладно, не буду», – примирительно говорил я. И мы переводили взгляд туда, куда его только и можно было перевести в пустом бескрайнем поле (наши родные двухэтажки оставались далеко позади), кроме неба, конечно, – но чего ждать от неба, каких чудес? Над городом висело точно такое же небо, как здесь, так пусть на него смотрят в городе. А мы смотрели на Башню.

Мы не подъезжали к ней в тот раз – вообще, это было бессмысленным. Окруженная высоким, с несколько маяков, забором, не имевшим не то что ворот, даже щелей и трещин, она представляла мало интереса вблизи. Зато с Широкоморского шоссе ее вид был... нет, не сказать завораживающим, не сказать поражающим воображение... Башня просто была, каждый из нас помнил ее, сколько помнил себя – тут нечего было воображать. Ее вид с Широкоморского шоссе был таким, что ты неизменно думал: собственно, все уже в жизни увидено, прожито и прочувствовано, и лишь одно оставалось загадкой, которая будоражила ум.

Эта Башня – Севастополь или нет?

Весь мой город лежал под ней, простирался, словно поверженный противник, и она стояла, торжествующая, источала мощь, распространяла, словно антенна, свою тайну, в город, передавала ее в каждый дом, каждую голову. Кто построил тебя, Башня? Разве могли тебя даже не возвести, а просто задумать тихие люди наши, разве мог породить тебя добрый, спокойный и неподвижный наш город, не желавший расти ввысь?

Я сбавил скорость. Все наши разговоры смолкли, и я переглянулся с Фе, очаровательной моей подругой. Ее волосы развевались, а в зеркальных очках отражалась степь. И Башня... Девушка ехала со мной на переднем сиденье, и, признаться, мало что мне приносило когда-нибудь больше счастья. На заднем сиденье сидели наши друзья, они смеялись, глядя на нас, шутили, кричали, но я не слышал. В голове бились волны – и тогда казалось, что это прилив сил, радостный трепет совсем молодой души от вспыхнувшего в ней первого настоящего чувства. Но уже тогда я понимал: мое волнение отнюдь не только об этом. Глядя на прекрасную Феодосию, я хотел встретиться с ней взглядом, но видел лишь Башню в ее очках. Башня заслоняла мне все, Башни становилось все больше в моей жизни. И прежде всего, конечно, в голове.

Волны тревоги бились о то, что прежде казалось неприступной скалой – мою беззаботность, уверенность. Неужто молодость уходила, неужто это и была та самая «жилыца», которой надеялся всех тех, кто молод, но уже и не совсем, наш мудрый наблюдательный народ? Новый прилив – сильный, внезапный – злости, испуга нахлынул на мою крепость, и я резко затормозил и нервно надавил на клаксон автомобиля. Раздался писклявый звук, словно суровый ребенок сжал в крепких руках плаксивую резиновую игрушку.

– Фи? – спросила Феодосия, приспустив очки. – Все в порядке?

– Слушай, – я перевел дух. – Сними их уже. Тебе же без них гораздо лучше...

– Лучше? – Она изобразила удивление. – Ты хочешь сказать, тебе так больше нравится?

Фе дотронулась до моей щеки, и этот простой жест словно обжег меня. Как будто почувствовав это, она отдернула руку.

– Мне так больше нравится, – буркнул я.

Она усмехнулась.

– Ну ты не один ведь здесь, верно? А как же твои друзья, Инкер?

Зачем она это делает? Дразнит меня? Или его – моего несчастного друга? Все мы знаем, как нравится Фе ему, и все – даже он, нет, он в первую очередь – знают, что у него нет никаких шансов.

– О да, детка, ты прекрасна! – Евпатория томно посмотрела на нее и облизнулась.

– Уйди, противная, – отмахнулась Фе. Она ревновала Евпаторию ко мне, хотя какой смысл? Я был еще без «жилыцы», по крайней мере, хотел так думать, был чист и верен своей любви. Ну, или тому чувству, которое хотелось считать любовью. Ведь наша компания была такой маленькой – а как же хотелось большой любви!

– А что, – улыбнулся Инкер. – Все классно, мне все нравится. Фи, зря ты наговариваешь! Они ей очень идут.

Сделав этот комплимент, друг просиял. И Феодосия предсказуемо потеряла к нему интерес.

– Вот видишь. – Она дернула меня за руку. – Всем нравится. И почему тебя не прут мои очки?

– Башню видно, – бросил я, открывая дверь. – Выходим, ребят, прогуляемся... И потом – почему всем? Керчь, хотя бы ты скажи ей!

– А? – встрепенулась, словно только что спала глубоким сном, девушка на заднем сиденье.

Керчь была невысокого роста, с черными, коротко стриженными волосами. Она появилась в компании последней: мы встретили ее возле обрыва, когда я еще не умел водить авто и мы исследовали город на своих двоих – как правило, босых да совсем еще мелких – ногах. Порой несколько раз спали в пути. Так и с Керчью познакомились: мы застали ее спящей. Она любила бывать одна, и что нашла в нас, наверное, не знала сама. Мы вообще подумали сперва, что она мальчик. Ох, как же смеялись с Инкером, когда узнали правду! Керчь не обижалась – лишь хлюпала носом и глядела на нас исподлобья.

Она была умной, на самом деле, и на все имела свой взгляд. Наши любовные дела ее не волновали, как, казалось, и любовные дела вообще. Керчь была словно везде – и вместе с тем нигде конкретно. Иными словами, обитала в своих мыслях. Я думаю, что потому-то ей и было сложно в городе, где все смотрели в небо. А зачем смотреть в небо, если небо в твоей голове?

– Вы все друг друга стоите, – фыркнула она, выходя из машины. – Будто только из ласпей вышли. Истрачиваете себя на глупости.

– Керчь, милая, о чем ты? – беззаботно рассмеялся Инкер. – На что еще истрачивать себя в закрытом городе?

– Ладно, расслабьтесь, ребята, – сказал наконец я. – Мы снова здесь. Городской туризм и все такое...

– Что делать будем? – поинтересовалась Евпатория.

– Наслаждаться жизнью. – Я пожал плечами и присел прямо на дорогу, прислонившись спиной к двери нашего авто. Вдыхал воздух – здесь он, казалось, был чище, чем в жилой части, и теплее. Словно Башня нагревала его.

Это было сложно принять за правду, но, когда я присматривался к причудливой форме Башни, такая мысль не казалась невероятной. Башня состояла... как бы объяснить вам, чтобы вы смогли представить? А еще – вы назовете меня сумасшедшим; уверен, это случится не раз, но я все же рассчитываю, что вы поверите мне. Я хочу, чтобы поверили, а иначе зачем весь этот рассказ, зачем это все было?

Так вот, представьте электрический чайник; у нас такие были в каждом доме. Но только без ручки и носика, ну и без стекла еще. А главное – гигантский. Представьте его таким, каким только сможете вообразить, и, уверяю вас, эта фантазия окажется преуменьшением. Или, если хотите, представьте металлический утюг. Такие бывали и в наших домах, но их, как правило – не знаю почему, – редко использовали по назначению. В основном придавливали крышку, когда что-то жарили на сковороде. Уж не знаю, делают ли так у вас здесь. А лучше... лучше представьте себе что-то среднее между таким утюгом и электрическим чайником. И еще немножко тостером. Знаю, это получилось странно, но я простой парень, я провел всю жизнь внизу. Мне никому не приходилось рассказывать о Башне; а это как рассказывать о дереве, о море, о земле... Как бы вы описали землю? А воду? Представьте вдруг, что я ее не видел, и вам нужно объяснить мне, что это такое.

Так и Башня. Она была первозданной, монолитной. По правде говоря, описывать это невероятное творение *через* что-то, как совокупность каких-то разных частей, – чудовищно. Башню можно было описать лишь одним словом – Башня. Только это была она. Но если вы уже представили гигантский предмет (вспомните, как долго мы объезжали вокруг забора!), напоминающий чайник-тостер-утюг, но без дверей и окон, то это будет хотя бы немного похоже для тех, кто не видел Башни. Нет, не на нее саму – на ее основание.

На этом тостере располагался – грубо говоря, стоял, хотя все это было одним целым – другой, поуже, а на том – новый, точно такой же, но еще уже. Каждый из последующих «чайников» был еще и ниже предыдущего, но в чем они не различались – так это в цвете: Башня была темно-красной, бордовой, напоминала цвет густой артериальной крови. И еще она блестяла, отражая блики солнца – ее поверхность была идеально гладкой, словно лакированной.

Я вновь зажмуриваюсь, вспоминая Башню, вспоминая сразу все наши бесчисленные прогулки, катания возле северных границ. Как же глупы слова «чайник», «стоял». Стоял – значит, мог упасть? Но Башня не могла упасть. В ней ничто не могло сдвинуться с места, шелохнуться. Она уходила в небо или, как считала та же Керчь, подпирала небо.

Керчь была умной, бывало, я прислушивался к ней. Когда мы увидели ее у обрыва спящей, именно я оказался тем негодяем, что потревожил ее сон. Я веселился, пока она пыталась прийти в чувство, плясал вокруг нее. Сказать вам по правде, что мы еще делали с этими старыми низкорослыми кустами, которыми так изобиловала Северная сторона? Мы курили их – измельчали, толкли до состояния пыли фиолетовые цветы и набивали ими трубки. Так и в ту последнюю поездку, облокотившись на машину, я курил этот сухой куст. Так и там, на обрыве, когда я был совсем еще мелким... Сухого куста хватало на всех, но в городе он никому не был нужен. Там было крыльцо и небо, у нас – дорога и пыль. И вечная красная Башня, куда ни кинь взгляд – она словно притягивала, возвращала, не давала отвернуться от себя.

А Керчь тогда отвернулась – мелкая задиристая Керчь.

– Давай познакомимся, – хохотал я. – Мальчик, кто твое имя, а, мальчик? Где твоя мама?

– Мы не будем знакомиться, – сухо сказала Керчь. – Мне с тобой будет скучно, ну а тебе – непонятно.

– Почему? – удивился я.

– Потому что мне уже скучно, а тебе – уже непонятно.

О, как я возненавидел ее за это! Как хотел развернуться и прыгнуть с обрыва в море, лишь бы забыть, что я слышал эти слова. Да, это стоило того, чтобы «обнулить» жизнь! Но я понял сразу, что буду слышать эту присказку далеко не от одной мелкой засранки: что в Севастополь пошло, то уже не отлипнет. Как каучуковый мячик, застрянет в волосах. Просто Керчь была первой, кто мне – и при мне – такое сказал.

И точно: на улицах, в метро, с больших экранов звучало это «скучно-непонятно», звучало как призыв. К действию, которого не было, которое было невозможно совершить. Таким же призывом выглядела Башня. «Если тебе скучно, – словно говорила она. – Если тебе непонятно...»

Да, именно так она нагревала воздух. Я думаю, потому возле нее и было так жарко. Ну, и курили много – становились активнее, без умолку говорили глупости, о которых непременно потом забывали. Все, кроме Феодосии.

Сухой куст мы курили все. Кроме Феодосии.

– Идите на хрен, – отворачивалась она и шла вперед по дороге, куда мы так и не доехали, видя лишь бесконечное продолжение странного, ведущего в начало самого себя пути. Она была наивна и прекрасна – словно действительно верила, что куда-то по этой дороге придет. Я представлял ее маленькой, любопытной, познающей мир, в коротком платьице бегающей между кустов: вот она зажмуривается и расправляет руки, словно крылья, и глядит, закинув голову назад, в небо. Хохочет... Прыгает, мчится куда-то, падает, катается по земле, кувыркается, лежит, отдыхает... Вот ей взгрустнулось, или она задумалась, присела, обхватив большими, непропорциональными худыми руками колени, а на них ссадины, царапины – это резали колючки, впивалась сухая корявая земля. Ничего, заживет быстро! Быстро грусть пройдет. Быстро... как все быстро, и, представляя ее такой, испытывал только огромную безразмерную нежность.

И, замирая на мгновение, я ее видел – бегущую девочку в легком платьице, бегущую в новую жизнь. Нынешняя Фе, красавица из красавиц, наверное, хотела бы бежать от жизни... Не оттого, что жизнь плоха, а оттого, что известна, и оттого, что от жизни известно: маленькой девочки больше не будет, и убежать некуда. Я вдыхал горько-сладкий сухой куст, и мне казалось, что все уменьшается: и пыльная дорога впереди, и Фе, идущая по ней, и авто за моей спиной, и исполинская Башня, и оставленные где-то далеко улицы города... Все становится крошечным, и почему-то темнеет вокруг, словно на все, что существует, наваливается тень: как если бы ты открыл дверь в темный чулан, кладовку или погреб (ведь где еще в светлом нашем городе могло быть так темно?), но только это не ты отправляешься в темную комнату, а выпущенная тобой темнота отправляется осваивать пространство. Но ты не боишься, потому что растешь и становишься много, гораздо выше всего, что тебя окружает, – выше оставленных возле самой линии земли твоих друзей: они теперь единое целое с дорожным песком, с куцыми ворсинками-волосиками сухого куста, а ты растешь все выше, выше – ты уже вровень с Башней, ты тянешься к небу, ты преодолеешь его, порвешь его тонкую пленку, и... что там над ним, вверху? Вытечет, хлынет в дыру лопнувшего неба, заливая собой Севастополь, а ты... Ты хоть на миг увидишь, что там. Ты увидишь, где кончается Башня.

Только тогда я впервые понял, что вершину Башни всегда окутывают облака. В городе было мало облаков – они плыли по нескольким спланированным еще до меня и миллиардов таких, как я, маршрутам, будто небесные троллейбусы. Они всегда возвращались, как возвращались все мы, проходя линию. Но там, наверху, где Башня входила в небо, они лишь мельтешили вокруг, немного изменяя форму, но не исчезали, словно сами были частью Башни... Или, если уж мы вспоминали чайник, – иногда облака так клубились, что казалось: этот огромный чайник кипит.

Только здесь бывали грозы, и небесная вода стекала по скользкой сверкающей стене, а молнии отражались на ее идеальной глади. Но вода никогда не лила за пределами забора, который окружал Башню. Это мне нравилось: чего ж хорошего, если с неба льет вода? Ничего... Все это говорило лишь о том, что Башня жила по каким-то своим, неведомым всем нам законам. И с чем труднее всего смириться – мы были ей совсем не интересны.

– Это просто кусок металла, – услышал я голос Инкера. – Никчемная груда металла. И что мы вечно на нее так смотрим? Прыгаем вокруг нее, как муравьишки... Пошла она! Слышишь ты, эй!

– Ты чего? – оторопело спросил я.

– Она даже не живая, – пожал плечами друг. – Ты думаешь, там кто-то есть?

– Думаю? Да я уверен, – спокойно ответил я. – Иначе куда бы призывали избранных?

– А как они могут жить без окон? Без дверей? Может, их убивают там? Может, приносят в жертву?

– Скажешь тоже, – хмыкнул я, – в жертву кому?

– Может, это тюрьма, в которую заключили какого-нибудь исполинского бога, – хмуро предположила Керчь.

Да уж, с догадками у этих ребят никогда не возникало проблем. Но тогда я не захотел их слушать.

– Кто? Севастопольцы? – прыснула Евпатория. – Они и с нами-то, пятерыми, не знают, что делать... Куда б заточить... А тут – бога! Да ты видела вообще живого бога?

Не знаю, как насчет богов – в артеках нам о них не говорили, – а вот одну богиню я в своей жизни точно видел. И видел прямо теперь. Я решил поспешить и подскочил так, словно меня ужалил огромный жук-черниловоз, которых здесь было в избытке. Под ногами что-то хрустнуло, я тихо выругался и посмотрел на землю. Там лежали очки Феодосии; их было уже не спасти. Не сказать, чтобы я расстроился. Но увидеть свое лицо в осколках чего-то, что только миг назад было единым целым, а теперь лежало, бесполезное, исчерпавшее себя, не так уж приятно. Я скривился и поспешил догонять Фе.

Она замедлила шаг, словно давая понять: для того и уходила, чтобы я отправился за ней следом. Я поравнялся с ней. До линии возврата было далеко, но мы пошли еще медленней. Сзади слышался смех – Инкер набивал трубку сухим кустом, друзьям было чем заняться.

– Ну как ты? – спросил я.

– Тебе не надоело это все?

Я взял ее за руку, она взглянула на меня и криво усмехнулась. Наверное, мы смотрелись красиво: бесконечная дорога, кусты, небо, парочка простых и молодых...

– Ты – точно нет. – Я не хотел говорить о серьезном, хотя «серьезное» все чаще одолевало. Мы с Феодосией чувствовали друг друга, думали об одном. – Может, прокатимся вдвоем? Я развезу ребят...

– Инкер меня достал, по правде говоря. Он же ко мне клеится. Ты что, не видишь? Даже сегодня, пока ты отходил куда-то там, а мы ждали в машине...

– Он и к Евпатории клеится. Ты же знаешь... Наверное, думает: где-нибудь да получится.

– Евпатория без ума от тебя. – Она посмотрела на меня острым взглядом, словно хотела пробуравить.

– Знаю, – я пожал плечами.

– И что ты думаешь?

– Ничего.

– А то, что твой друг ко мне клеится? Тоже ничего?

Я понимал, к чему она клонит. Мне нравилась эта девушка, да, она была прекрасна. Но не хотелось говорить об отношениях, о планах, обо всех этих вещах, которые они, красавицы, так любят. Я вообще не знал, есть ли у нас отношения и должны ли они быть. Ведь мы всегда

были друзьями. И то, что я чувствовал к ней, мне нравилось, но я сам не понимал до конца... Не понимал, что со мной, что с нашей компанией, что с миром и городом – ну да, это, в общем, одно и то же. Куда мне было понимать об отношениях? Я не хотел сдвигать этот камень с места – все и так хорошо, все нормально. А вот к Фе, похоже, приходила «жильца» – та самая.

– Наша компания маленькая, в ней непременно это случилось бы. Когда в компашке пять человек, все рано или поздно перенравятся друг другу.

– Почему-то со мной не так, – фыркнула она.

– Инкер – мой друг, – продолжил я. – Мы вместе почти с тех пор, как я открыл глаза. Как я себя помню. Даже вы все появились потом. Он странный человек; не знаю, почему так вышло. Порой мне кажется, что единственный, кто его по-настоящему интересуется, – это я.

Феодосия рассмеялась:

– Когда он кладет мне руку на колено, я совсем так не думаю... Пожалуй, вообще на заднее не сяду. С ним опасно.

– Перестань. Я говорю тебе: ему и дел других не надо, кроме меня. Всю жизнь крутился – и помочь, и просто поболтать. Я порой говорил: что ты еще делаешь, кроме как со мной тусуешься? Он: а ничего. Скучно, говорит, один или с этими, вообще не знаю, чем заняться... Нет у него других дел. Да и какие дела тут? – Я рассмеялся, почувствовав прилив внезапного удовольствия, такого любимого мной благостного расположения духа, спокойного, умиротворенного и счастливого, за которое и любил эти фиолетовые цветы. Правда, ощущение было совсем недолгим и появлялось далеко не всегда. – А ты что же? Хочешь вызвать во мне ревность?

– Накрыло? – спросила Фе.

– Что? Ах да, накрыло, накрыло. Наконец-то, – я радостно закивал головой.

– Это хорошо, – сказала она. – Нет, я хочу в тебе вызвать совсем другие чувства.

– Ты и так вызываешь. – Я непроизвольно икнул и вдруг почувствовал себя глупо. Ощущение благодати сбилось, что-то пошло не так. Я цеплялся за него своим сознанием, но оно ускользало, на него выплывала тьма. Я почувствовал страх, тревогу. – Ну надо же было икнуть, ведь знал, что это собьет!

– Фиолент. – Она остановилась. Мы ушли уже довольно далеко от компании, я видел лишь машину и силуэты вдаль. Нас никто не мог слышать. – Ты не задумывался, что мы уже давно не веселимся? Что сбой, как ты говоришь, – он настал не *под кустом* вовсе.

Как же я любил это смешное выражение! «Ты под кустом, что ли?» – подкалывал я Инкермана, завидев того с красными глазами или излишне активным. «Поехали под кусты» – так мы приглашали друг друга прогуляться и покурить. Но тогда, слушая Фе, да еще на сбое, я осознал вдруг: мы ведь не приезжаем сюда просто так. Мы перестали просто ездить-кататься, гулять, отдыхать. Точнее, нет, мы все это делаем, но обязательно курим куст. Почему я не замечал этого? И почему мы перестали отдыхать не под кустом? Почему его курение стало чем-то разумеющимся, очевидным? Даже Керчь, молчаливая и медленная, вечно застывшая в своих раздумьях, постоянно курила его с нами. Ей-то оно зачем, это же мы, дурачки, раздолбаи беззаботные, мы гнали тяжелые мысли, мы не хотели думать. Куст развлекал нас. А что он делал с ней?

Эти мысли пронесли в голове за миг. Но, видимо, все их можно было прочесть по лицу – оно так изменилось, что Фе прыснула со смеху.

– Ты чего? – спросил я. – Ты же не курила.

Фе была единственной, кому не понравился куст. Поначалу она сидела с нами, выпускала дым, потягивала трубочку, которую мы с Инкерманом сделали сами из толстого ствола все того же растения. А потом сказала: «Нет», – и больше к ней не прикасалась.

– Видел бы ты себя! – ответила она и тут же посерьезнела. – Не думай, что я смеюсь над тобой. Но этот куст – он вытягивает из вас все соки жизни. Вы станете такими же, как он. Выжженными, безжизненными. Вам только кажется, что все по-прежнему. Что вы развле-

каетесь, веселитесь. Вы часто ничего вообще не говорите. Ты можешь стать примитивным. Послушай себя, свою речь! Ты говоришь односложно, избегаешь всего серьезного, ты ничего не хочешь, тебя ничего не волнует. Понимаешь, о чем я?

– Ничего не хочу? – возмутился я. – Послушай, Фе, а чего тут можно хотеть? Я живу с недалекими, слежу за цветами, вспахиваю огород. А если я свободен – с тобой, моими друзьями, вами! Я люблю этот мир, наш город, но что здесь можно хотеть? Ты знаешь?

– Хотеть измениться, – сказала она. – Хотеть изменить жизнь в этом городе.

– Я обычный парень. И я проще, чем ты думаешь. Хочешь говорить о чем-то запредельном – иди обратись к Керчи... Я живу в этом городе, и мне не нравится, как здесь живут. Но разве можно жить как-то еще в Севастополе? Даже если захочу... Я не знаю, чего здесь желать, понимаешь? Я ничего другого не знаю – ничего, кроме того, что есть. И знаешь? – Мне хотелось как-то эффектно, ярко закончить, поставить жирную точку и закрыть этот разговор. Но ничего эффектного не находилось, и я произнес наконец: – Какая разница, если и так хорошо?

– Ты не хотел бы раздвинуть границы? – спросила Фе, и я увидел, как в ее глазах отразилась Башня, мне показалось, что там – над этой Башней в ее глазах – собрались тучи и сверкнула яркая молния. Я перевел взгляд на реальную Башню и не увидел ничего подобного.

– Раздвинуть линии возврата? – усмехнулся я. – Тебя не учили разве? Такого не случилось. Это невозможно. Ты не можешь взлететь, ты не можешь дышать под водой, ты не можешь передвинуть линию... Это наш мир, детка!

– Ты много куришь куст. Пока не подсел на него, ты не говорил «не могу», «не можешь». Это было не про тебя.

– Нет. – Я покачал головой. – Это просто жильца подбирается.

– Жильца – это начало жизни, – возразила она. – А ты говоришь как уже переживший, тебе на Правое море пора.

Она отвернулась и зашагала от меня прочь.

– Ну давай, – крикнул я. – Покажи, как раздвинуть границы! Пройди линию возврата! Расширь ее, давай, детка!

Я издевался над ней.

– Главное – это твои границы. Их и надо расширять! Тебе тесно в них. Нам всем тесно.

– О да! – воскликнул я. – Ты понимаешь то же, что и я. А я – то же, что и ты. Вот только что мы с этим будем делать?

– Не знаю, – отчаянно крикнула она. – Не знаю. Но куст – это не выход! Куст – это тот же небосмотр, только для тех, у кого совсем нет башки.

– Я простая песчинка на улицах этого города, – растерянно сказал я. – И вообще, хва...

– Взгляни на Башню, – вдруг сказала Фе. – Она входит в небо, как входит нож в масло. Это красиво, не находишь?

– Для горизонтального города – более чем. Есть на что поглазеть, есть куда съездить. В обнимочку сфоткаться. Хочешь?

– Фи! Мы уже сто раз так делали.

– Конечно, – пожал плечами я. – Но это же так прикольно.

– Так жизнь и проходит, – сказала девушка. – Что мы с тобой будем делать? Сначала породнимся, потом расплодимся, потом устанем от всего и отключимся. Перестанем даже на мол ходить. Ты забросишь свою машину, пересядем на троллейбус, а то и вовсе никуда не станем выезжать. Будем ждать на крыльце, прислушиваться: не слышен ли зов Правого моря?

– Полегче, детка, – рассмеялся я. Меня немного напрягли все эти «породнимся», «расплодимся». – Не слишком ли торопишь события?

– Фи, да очнись ты! – воскликнула она. – Или ты вечно будешь под кустом? Услышь меня! Я не говорю о своих планах. И вообще, знаешь: мне страшно представить теперь, что у нас с тобой что-то будет. Но это вариант развития событий. Один из возможных здесь. Либо так,

либо поодиночке. Либо с кем-то другим, но все то же самое! Мы живем у подножия Башни, копошимся. Как муравьи возле столба на остановке.

– Ну и к чему ты клонишь? – устало спросил я. Похоже, что куст прекращал свое действие. Мне хотелось, чтобы и этот разговор, к которому я давно потерял интерес, прекратился.

– Похоже, веселью конец, Фи, – тихо сказала девушка. – Мы уже не те, что были прежде, понимаешь? Все это надоело. Ты знаешь, что нас отличает от них? Тех, кто там, по этой трассе, в обе стороны?

– Они не курят сухой куст? – издевательски спросил я.

– Они не ищут себя. Для них все понятно, и им больше ничего не надо. Они не тоскуют по чему-то другому.

– Потому что знают, что ничего другого нет, – сказал я. – Зачем отрицать очевидное? И я их прекрасно понимаю. Они нормальные люди, просто слегка скучноваты.

– Пятьсот тысяч человек могли бы организовать свою жизнь иначе, чем жить в двухэтажных домах на одинаковых улицах, растить одинаковые цветы. Ты никогда не думал?

– В их жизни не хватает движухи. – Я присвистнул. – А так они нормальные ребята.

– Ну да, – разочарованно протянула Феодосия. – Ты становишься таким же; осталось немного, Фи. Ты думаешь, что они не любят нас и другие такие компашки только потому, что мы веселимся, а их не зовем? Потому что купаемся, катаемся, празднуем гуляем, целуемся, слушаем музыку, так?

– Ну почему не любят? Просто не понимают.

– Нет, они косятся на нас. Они считают нас подозрительными. Они думают о том, что с нами делать. Как перевоспитать. Ты никогда не слышал их разговоров?

– Да что мне слушать их разговоры! – взорвался я. – И твой разговор не особо...

Но Фе вдруг обхватила мое лицо руками и приблизила к себе, не дав договорить.

– Каждый из нас ищет себя. Это нас отличает от них, а не веселье, не музыка, не машина. Мы на фоне их сонной жизни слишком заметны: постоянно мельтешим, постоянно громко говорим...

– Я всегда считал: им просто скучно жить, – сказал я. – Знаешь что, давай вернемся обратно. Прокатимся до линии, развезем ребят, а потом еще побудем вдвоем. Это обычные загоны, депрессуха. Пройдет.

Фе молчала.

– Пойдем, пойдем. – Я взял ее за руку и увлек за собой. – Я покажу тебе Севастополь! Целый огромный город, представляешь? И только тебе одной! Ты была когда-нибудь в Севастополе?

Девушка наконец рассмеялась. Ее смех был не таким, как мой, да и вообще любой, который я слышал. Звонче, что ли.

Фе и Фи

– Без куста и жизнь не та, – встретил меня Инкерман, передавая трубку и похлопывая по плечу.

– Знаешь, дружище, не буду, – ответил я неожиданно для себя самого. – Мне еще вести мою красавицу. – Я сказал, конечно, о машине, но получилось двусмысленно.

– Дороги все наши, город спит! Хоть все скури – домчим как миленькие! – воскликнул Инкер, открывая дверь и жестом приглашая девушек разместиться на заднем сиденье. – Дамы вперед.

– Спасибо, я спереди.

Я ловко подхватил Феодосию – она смешно вскрикнула и задергала ногами. Бережно перенес ее и посадил на сиденье рядом с водительским. Обошел машину, лихо перепрыгнул дверь, не открывая, и плюхнулся на свое место.

– Йех-х-ху! – закричал я. – Все в сборе?

– Пижон, – сказала Феодосия.

– А где вы так долго пропадали? Что делали? – с вызовом спросила Евпатория, как только я тронулся. Фе закатила глаза и поморщилась.

– Евпатория, – начал я. – А почему тебя так зовут? Я понимаю, меня – Фиолент, его – Инкерман вон. А Евпатория – что это за имя?

– Вы будто знаете, что означают ваши имена! – фыркнула Евпатория.

– Наши – нет, а вот твое, кажется, знаем, – подхватила Фе. – Евпатория – значит любопытная.

– Вот-вот, сует свой евпаторийский длинный нос куда не следует, – расхохотался Инкерман.

– А куда следует? – огрызнулась Евпатория.

– Что, тоже куст отпустил? – поинтересовался я, увеличивая скорость. Хотелось въехать в линию разрыва на полном ходу, прорвать ее, словно стрела, пущенная из самого сердца города, с маяка. Хотя, зная результат заранее, было бы справедливей сравнить нас с бумерангом, а не со стрелой.

– Имена – это то, что в крови, – раздался тихий и вкрадчивый голос Керчи. – Когда еще не было города. Когда не было ничего из того, что мы теперь знаем.

Ну почему она так любила произносить очевидное, преподнося его как тайное, сакральное знание?

– И даже Башни? – спросил я, чтобы хоть что-то ответить. – И даже маяка?

– И даже неба, – ответила Керчь.

Мне показались странными эти слова, но я промолчал. Хотелось насладиться скоростью и свежим воздухом. Керчь была одинока и, казалось, не проявляла интереса к тому, что так нравилось всем нам, – романтике, флирту. Чтобы производить впечатление, она любила напустить таинственности. Но то, что говорила эта девушка, порой было сложно воспринимать всерьез.

– А я, может, тоже хотела с вами? – не унималась Евпатория, и тут Инкерман, видимо, опьянев от сухого куста и кажущейся нашей свободы, притянул ее к себе и страстно поцеловал в губы. Оторопев от наглости, она сначала поддалась, но затем опомнилась и завизжала, принялась бить его руками.

– Ты сумасшедший, – кричала она. – Больной ублюдок!

А Инкерман хохотал, похлопывая себя по коленям, словно ветхий дьявол, которого, конечно, нет, ведь я спускался в метро – это не так уж и долго: какой-то десяток ступенек, и вы на станции. Я видел: нет там никакого ада. Там то же, что и у нас. Только меньше света.

– Кажется, проскочили, – объявил я.

– Мы с дорогой Евпаторией, как всегда, все пропустили, – рассмеялся Инкерман. – Хотя у нас тут, кажется, было кое-что поинтереснее? – Он толкнул ее в бок. – Да, Тори?

– Останови, – крикнула она мне. – Я сойду.

– Не дури, – бросил я. – Башня только что была справа, а теперь она стала слева. Видишь? Знаешь, что это значит?

– Фи, мы все знаем, что это значит. Говорю, я хочу сойти!

– Мы все хотим сойти, но это, детка, Севастополь, – Инкерман продолжал глумиться. – Конечная станция мира.

Случилось то, что и должно было произойти: Евпатория влепила ему звонкую пощечину.

– Инкерман и Евпатория, – я изобразил пение, – не прекрасная история...

– Заткнись, – сказали мне оба.

– Ребята, вы демонстрируете такое единение, – рассмеялся я. – Вам пора оформлять свои отношения, не думаете?

– Заткнись, – на этот раз отозвалась только Евпатория.

– Объективно, ты сам напросился, дружище, – констатировал я, глядя в зеркало на расстроенное и покрасневшее лицо Инкермана в зеркало. – Ну а тебе, красавица, скажу только одно: ты на самом северном полюсе города. Если ты здесь выйдешь, до дома не доберешься. Есть-пить нечего, кроме нас, двинутых, сюда редко кто заезжает, а идти тебе... даже страшно подумать сколько.

– А она курить будет, – вставила Фе.

– Дура, – огрызнулась Евпатория.

Все ненадолго замолчали; сказать было действительно нечего, и в тот момент я, помню, подумал: действительно, Феодосия в чем-то была права – наша компания рушилась. Да, мы еще были все вместе, друг с другом, но как-то... что ли, сами по себе. Споры, непонимание, разногласия – все это пока еще обретало форму шутки, но каждый раз казалось все менее естественным. Что нас объединяло? Лишь то, что мы недавно перестали ходить в артеки и не знали, чем теперь заняться, что нам не нравилось сидеть после монотонной работы на крыльце или жарить мясо в компании скучных, как нам казалось тогда, папы и мамы – только-то и всего. Могло ли появиться что-то, что могло бы нас снова спаять, притянуть друг к другу? Я не находил для себя ответа. Единственным приключением, которое нам доступно, оставалась поездка к Башне, к нашим северным границам. Может быть, стоило прислушаться к девушке, которая мне так нравилась, задуматься: если нельзя расширить границы мира, то стоит попробовать расширить собственные.

Мне вдруг захотелось остаться с ней вдвоем. Вдвоем во всем городе, на середине пустой дороги, оставив мигать фары... Оставив Инкермана с его шалостями, Евпаторию с капризами и Керчь с сумасшедшими теориями – оставив всех их где-то далеко позади. Или впереди – в нашем городе, как вы поняли, в направлениях можно было запутаться.

Вдали показались троллейбусные провода, первые дома застывшего во сне Широкоморского шоссе, первые ответвления зеленых севастопольских улочек.

– Как город понимает, что приходит пора спать? – зевнула Керчь. – Вот теперь они все будут вставать, а я только лягу.

– Город устает. А ты ничего не делаешь.

Я сказал это без упрека, лишь озвучивая очевидное. Но Керчь обиделась.

– Я читаю, – сказала она. – А вы только варитесь в своих любовных заботах. Так и сваритесь, как раки.

Хлопнула дверь и ушла, не оборачиваясь. Признаться, меня не сильно задела ее слова. Что можно было читать в Севастополе? Городские мифы и легенды, биографии переживших горожан, учебники об устройстве воды и почвы... Да унылые фантазии местных жителей, решивших взяться, как говорили они, «за перо» – однотипные истории о том, как кто-то кого-

то любил, кто-то кого-то убил, да о домашних животных. В реальности такое не встречалось: вместо любви горожане решали жить вместе – съехаться, как все говорили, или породниться, как говорила Фе. Убивать кого-то в городе было решительно не за что – хватало всем и всего: и земли, и моря, и неба. Но истории читали, как и смотрели кино на все те же темы – конечно, не все, даже не каждый второй. Но любители находились. Что я мог узнать из этих книг и фильмов о реальном мире, о реальном городе? Такого, чего бы еще не видел или не знал? Что я мог узнать о себе?

Ничего.

Керчь говорила, что на тысячу страниц всегда находится одно предложение, фраза или даже одно слово – но проливающее свет. В книгах есть все, убеждала она, только нужно это увидеть. Но я всегда спрашивал: хорошо, ты увидишь, но как ты сможешь это применить? Как ты сможешь увидеть все целиком?

Однажды она спросила: а ты веришь в полую землю? Я оторопел, не понимая, о чем идет речь.

– Нам ведь как объясняют в артеках, – начинала она. – Есть Севастополь, и есть бесконечная толща земли под ним, которая по мере отдаления от нас становится плотнее и плотнее, пока не превращается в нечто совсем идеально плотное, что и составляет Бесконечность Бытия.

– Ну да. – Я вспомнил. – Под нами – плотное бытие, над нами – разжиженное. Бытие – абсолютный ромб.

– Ты никогда не думал, что это может быть и не так?

– С чего бы мне об этом задумываться, крошка? – удивлялся я. – Это не мной придумано, да и не придумано вообще. Кто я такой, чтобы...

– Прибереги своих «крошек» для этих... – Она не стала называть, но я прекрасно понял, что имеет в виду Фе с Евпаторией. – Так вот, я прочитала в одних мемуарах... человек уже давно покойся в Правом море, он прожил долгую заслуженную жизнь и говорит в основном о яблоках да цветах. Он работал в метро и об этом хотя неохотно, но говорит. И утверждает, что в нашем метро есть тайные спуски, «Метро-2», как он это условно называет. Его тоннели идут не параллельно нашим улицам, как основная ветка, а спускаются резко вниз – настолько круто, что поезд кое-где идет почти вертикально.

– Детка, – я осекся. – Керчь, прости. Но если есть в мире метро, то кто-то должен придумать секретные ответвления. Это закон жизни.

– Нет, подожди. Он дальше говорит, что эта ветка выводит в совсем другой мир. Что наши границы – это не линии возврата вовсе, наши границы – это то, что под землей. Там есть другие города, и он говорит, что бывал в них. А узнал об этом случайно.

– Конечно, – кивнул я. – Как и я об этом узнал случайно. И уже очень хочу забыть. Большого бреда я в жизни не слышал, Керчь, дорогая!

– Я тебе не дорогая. – Она стиснула зубы. – Тайное знание никто не хочет принимать, потому что в него невозможно поверить. Но что, если этот человек...

– Что, если этот человек – сумасшедший? Что в этих городах? Он говорил? Он написал, как туда попасть? Может, и мы пойдем в них, посмотрим?

– Он не написал, – сокрушенно сказала она. – Я знаю, что ты теперь скажешь: ты поднимешь меня на смех, и все такое. Но биограф, который о нем писал, закончил на этом книгу.

– Ну да, на самом интересном. Нормальный ход.

– Он пишет, что человек исчез, как только рассказал ему про эти города. Его не относили к морю мертвых. Его просто не нашли. Биограф ходил смотреть на небо, чтобы развеяться и отдохнуть, а затем взяться за работу с новой силой. Но, вернувшись, не обнаружил этого человека. И не видел больше никогда, представляешь?

– Керчь, как ты не понимаешь! Тебя цепляют на этот интеллектуальный крючок: типа загадка, тайна. А на самом деле это все фуфло. Такое же, как книжки об убийствах. У кого на что фантазии хватает. А к реальности – поверь – все это не имеет отношения. Полая земля, блин! – Я не на шутку разошелся. – Нет, я даже под кустом такого не придумаю. Нет бы написать про Башню – кто ее создал, зачем. Ведь туда уезжают, наверняка хоть кто-то вернулся!

– Ты же знаешь, Фиолент, из Башни не возвращаются, – всерьез сказала она.

– Вот это ты не подвергаешь сомнению, – крикнул я. – А твердость бытия, значит, можно? Смотритель маяка – вот кто точно связан с Башней! И его мемуары я бы прочел, да. Но такие мемуары никогда никто не издаст.

– Я бы хотела издать, – сказала Керчь. – Я поняла, что хочу здесь делать. Я хочу писать.

В тот момент, провожая разозленную, хлопнувшую дверью Керчь взглядом, я подумал: хоть у кого-то из нас обнаружилось призвание. Еще двоих куда-то тянет, но совсем не понятно куда – это я про нас с Фе. Инкер никак не определится, чего же ему больше хочется: пинать целыми днями балду со мной, обсуждая очередные ничего не стоящие впечатления и догадки, или добиться расположения Тори, к которой он так сильно прикипел. И только самой Евпатории, похоже, было не нужно ровным счетом ничего. И почему обычная жизнь в Севастополе ее не устраивала, казалось загадкой.

Она уснула на заднем сиденье, и я долго уговаривал Инкера не любоваться, сдувая с нее пылинки, и не гладить ее волосы, а разбудить и проводить до дома: жили они неподалеку друг от друга. Казалось, сама судьба их сближала, но вот угораздило же девушку заинтересоваться мной!

– Фиолент, – прошептала она, пока Инкер гладил ее щеки.

– Я больше не могу, вот-вот расплачусь, – сказала Феодосия. – Давай высаживай ее.

– Ребят, вам правда пора, – сказал я. – И нам отдохнуть надо, а мы довольно далеко, сам знаешь...

– Я с тобой никуда не пойду, – заворчала Тори, пробуждаясь. – Я с ним никуда не пойду, слышите?

– Это мой друг. – Я улыбнулся самой мягкой из всех возможных улыбок, но при этом едва сдерживался: признаться, все они меня изрядно достали. – Он не причинит тебе ничего плохого. Просто проводит до дома. Видишь, город вымер?

– Тем лучше, я дойду одна. – Она хлопнула дверью. Ну почему всем так нравилось это делать? Ведь и моя желтая крошка тоже любила нежность.

– Когда-нибудь у них это пройдет, – сказал я, когда Феодосия, положив мне голову на плечо, мечтательно вздохнула. Мы наконец-то остались вдвоем. – И они будут самой счастливой парой в Севастополе.

– Здесь нельзя быть самым, – вздохнула Фе. – Нельзя быть самым ни в чем.

Я вдруг понял, как она права, осознал ее мысль так глубоко, словно там, внутри этой мысли, будто в поллой земле, в которую верила Керчь, открывался новый, огромный мир. И на отшибе, обочине этой мысли мелькнула еще одна – не такая уж важная, но занятная. Мне стало ясно, что не устраивало Евпаторию. Она хотела быть сáмой здесь – и не только для меня, для всех. Но в городе ей было не на что рассчитывать, там никто никем не восхищался. А вот наша компания... Ей нужен был Инкер, но только не сам по себе, а как часть этой «самости». Я же ее подводил.

– Да, беру свои слова обратно, – сказал я. – Не будут они здесь самой счастливой парой.

– Езжай помедленнее, пожалуйста, – попросила Феодосия. – Хочу еще немного побыть с тобой.

– Будет сон, будет работа, будет снова наша встреча и поездка. Все циклично; так будет, пока не упадем. Так что куда мы друг от друга денемся.

– Нет, – сказала она твердо. – Мне кажется, что все изменится. Что все скоро пойдет по-другому.

Мы затихли, над нами поблескивали троллейбусные провода, и я сказал, лишь бы разорвать молчание:

– А ты бы уехала на «восьмерке»?

– Ты тоже вспомнил эту легенду? – рассмеялась она.

– Глупая, правда? – Я захохотал, словно слегка двинутый. Мне было так хорошо ехать вдвоем с ней и смеяться над глупостью легенды. Я чувствовал себя счастливым, хотя и знал, что это пройдет.

Восьмой троллейбус был одной из самых распространенных городских легенд нашего Севастополя. Троллейбус-призрак, появляющийся, когда последний житель отправляется ко сну. Он идет пустой, мимо остановок, по безлюдным улицам, сворачивает на перекрестках, пока не доезжает В То Место, Где Кончаются Провода. И тогда он отключается от проводов и убирает рога, прижимает к себе, словно сердитый кот уши. И едет дальше без проводов. И если кому доведется вдруг встретить «восьмерку» на городских улицах, в нее ни в коем случае нельзя садиться – сгинеешь, пропадешь навсегда вместе с таинственным троллейбусом, завезет он тебя в непонятные дали, и никогда больше не сможешь найти дороги назад.

– Глупости, – тихо смеялась Феодосия, собирая волосы в дивный хвост, ловко обворачивая вокруг них резинку. Я знал: чтоб не лезли в лицо, когда мы станем целоваться на прощанье... – Все знают, что в городе только семь маршрутов. Троллейбус без проводов, придумают тоже!

Я отсмеялся и вдруг повернулся к ней. Посмотрел пристально. Видно, мое лицо изменилось – Фе посерьезнела тоже, ответила долгим внимательным взглядом.

– Слушай, – сказал я тогда. – А как думаешь, куда он может идти?

– Куда, куда, на конечную...

– Нет, я серьезно. Ведь вариантов не так и много, на самом деле. Куда он денется из города? Ты подумай.

– Ну не знаю, всерьез обсуждать это... Лишнее, что ли.

– Просто представим. Допустим на миг, что он существует. Куда бы он поехал, а?

– Наверное, в Башню, – твердо сказала Фе.

– Именно, – кивнул я. – У нас в городе очень удобно – списывать все на Башню. Все непонятное, все не вписывающееся в привычные рамки, все выделяющееся хотя бы как-то из общей канвы – все немедленно приписывается Башне. Отправляется туда. И можно не думать больше об этом! Этого не существует! Можно дальше сидеть на крылечке и нюхать свои цветы да заедать помидорами. Башня – она все спишет...

– А что, если, – задумалась Фе и наконец выдала: – Что, если он проходит за линию невозврата? Что, если он не возвращается?

– Тьфу ты, – я сплюнул на дорогу. – Нет, ну конечно нет. Я ведь совсем не об этом.

– Ты даже в фантазиях не раздвигаешь границы, – протянула Фе.

– Нет, – возразил я. – Нет, Фе. Я не хочу, чтоб мой город менял границы. Я не хочу, чтоб с моим городом что-то случилось. Даже в фантазиях. Это тебе ясно?

– Да ясно, куда ж яснее... Слушай, мы, кажется, должны были свернуть.

Я резко затормозил и дал задний ход, чертыхаясь.

– Что с тобой? – удивилась Фе. – Ты прежде так не водил!

– В общем, так, – произнес я. – Мне кажется, он исчезает. Растворяется в воздухе. Он же невидимка, призрак. Вот что я думаю. А все остальное – чушь.

– Может, потому севастопольцы все так не любят, если кто-то гуляет, ездит, пока они отсыпаются? Потому что может встретить «восьмерку»?

– Троллейбусы тут ни при чем, моя красавица. – Я повернул на боковую улочку, одну из самых узких в городе. Где-то там, в ее конце, и жила Фе. Ближе к морю – Левому, разумеется. Ну а мне, как вы помните, еще предстояло ехать до мола: я ведь жил у южных границ. – Не любят они, потому что работают. А мы не работаем. Или работаем плохо. По крайней мере, мы делаем что-то еще, кроме работы и понятного им отдыха, – а значит, меньше работаем. Понимаешь? Только-то и всего.

– Работать, – задумалась она. – Кем? Я хочу приносить пользу. Моя мечта, ты знаешь, была всегда – приносить пользу. Но я не знала, чем могу быть здесь полезна. Здесь все без меня есть. Здесь никому не нужна от меня польза.

– Не знала? Почему ты говоришь «не знала»? А теперь что, знаешь?

– Теперь я знаю, – твердо сказала она. – Хочу быть полезной тебе.

Она дотронулась губами до моей щеки.

– А ты не хотел быть полезным?

Быть может, она хотела от меня другого – услышать то же, что она сказала мне, такое же почти что симметричное признание. Но я не видел главным для себя приносить какую-то пользу. У нас были водители, торговцы всяким барахлишком, фонарщики, рассказчики правил жизни и свода законов города, осевшие в артеках, кто еще... были метельщики асфальта. Где-то на соседних улочках стояли, утопая в зелени, компактные заводики, где делали бумагу, хлеб, одежду – обеспечивали себя и других севастопольцев самым необходимым. Большей же частью горожане занимались своим домом и двором. Встречались еще и врачи – самые скучные типы из всех: они помогали свозить бездыханных к Правому морю и крепко держать их за руки и ноги, раскачивая перед броском. Их вечным профессиональным спором было – кто закинет дальше... Керчь читала в книгах, что ветхие врачи были нужны для чего-то еще, но для чего – никто уж сам не помнил. Эта специальность вымирала, как подземные копатели, построившие однажды метро и не знавшие, что делать дальше. Рассказчики историй – те самые писатели, сниматели, записыватели и подглядыватели чужих жизней. Этих было жалче всего: они открывали глаза впервые, выходя в мир, и уже выглядели как пережившие, и отправлялись на Правое море, не приходя в сознание, а их околачивания возле чужих заборов и поедание чужих груш никому не приносили особой радости. Так, можно было перекинуться парой слов – с ними или о них. Да все там, в Севастополе, было нужно, только чтобы перекинуться парой слов. Кому я мог быть полезен? Чем?

Единственная профессия, которая меня не оставляла равнодушным, – это смотритель Точки сборки – маяка. Но вряд ли кто-то в городе мог бы сказать, что для него была какая-то польза от смотрителя – любого подняли бы на смех, скажи он такое. Увидеть бы смотрителя, поговорить с ним. Но даже нашим подглядывателям чужих жизней и поедателям дармовых груш выйти на смотрителя было не под силу.

– Этот не аккредитует, – говорили они и качали своими бородатыми головами. У них был какой-то свой язык – я ничего в нем не смыслил. А толку-то? Все равно все возвращались к своим огородам и копали вместе с папой и мамой грядки – есть ведь что-то надо.

– Да, – я наконец вырвался из раздумий. – В нашем городе все возвращается к своему домику, к своему двору, к фонарю за входной дверью, освещающему коридор... Любое начинание. Вот настоящие символы города – дом, двор, калитка, а вовсе не Башня.

Мы остановились за пару домов от ее родного. Город спал крепко, но кому-то же ведь надо просыпаться первым. Если это окажутся недалекие Фе, только и останется, что заводить машину и мчаться отсюда на всех парах.

– Машина, – произнес я. – Точно. Я водитель своей машины. Этого мне достаточно. А что? Я никогда не отказывался никого подвезти. Просто так. Ничего не менял на барахлишко. Одежда – все, что мне нужно. Машина. Город. Ребята. Бумажки я вообще не собирал. Они называют их «деньги», это слово звенит, слышишь: день-ги, день-день. Что с ними делать?

– Ты только красавиц подводишь, – улыбнулась Феодосия.

– Каких это красавиц?

– Меня, например. – Она обвила меня тонкими длинными руками, и я почувствовал прилив сил. Подался к ней, и мы долго не говорили ни слова.

А потом она снова сидела, откинувшись в кресле, и смотрела вдаль.

– Я вообще не понимаю, зачем эти бумажки... Мои папа с мамой их копят, прячут под подушки. Ритуал какой-то, словно не из этого города, мира вовсе. Что там в умных книжках пишут, надо Керчь спросить. Они в это верят, я – нет.

– Еще в артеках нам говорили – это в крови. Это как есть и пить.

– Но я им не верю... – Фе снова потянулась ко мне, мурлыкая на разные лады: – Я им не верю, им не верю я, не верю им я...

– В этом городе можно не верить всему, – прошептал я. – Но это ничего не меняет.

Прямо над машиной, над нашими горячими телами нависала, покачивая ветвями, старая яблоня. Налившиеся плоды падали, глухо ударяясь о желтый пластик, скатываясь по гладкой коже сидений, катились прямо под наши ноги. Так и мы катились по этому городу, по ровным его улицам, не зная, где и когда остановимся.

– И потом, главное – для чего это все? – шептала она, цепляясь за мои губы.

– Не знаю... – откликнулся я. – Ты же видишь, у нас никто не задается этим вопросом.

– Ну а ты? – с надеждой выдыхала она.

– Может, Керчь знает? – отвечал я, принося логику и смысл странного нашего разговора в жертву страсти, которая уж точно не задает вопросов и не ищет ни следствий, ни причин.

А потом Феодосия долго и тяжело дышала. Я смотрел на нее безотрывно и думал: как прекрасны, величественны ее изгибы в сравнении с моей неуклюжестью и неповоротливостью неотесанного камня. Она заговорила вновь:

– Кот скончался и попал в рай для котов...

– Неожиданное начало!

– Слушай! И там его спрашивают: а какой он – мир? Что там, откуда ты пришел? А, нет, не так, подожди... Там еще три было. Нет, их всего – три кота.

– И чего они? – спросил я расслабленно. – Все отмерли?

– Да. Они ж в рай попали – все, как в ветхости. И вот одного спрашивают, а он говорит: мир – это такая комната, где живут два больших и добрых, но очень занятых существа. Они меня кормят мясом и еще наливают молочка, гладят и ухаживают, а потому я постоянно довольный, бодрый и холодноносый. Из окна у меня вид во двор, там летают и ходят птицы, но на окне решетка. Вот такой мир. А другой говорит: мир – бесконечные и длинные дороги, а по сторонам постоянно стены, высоченные стены. Ты постоянно хочешь поесть, но постоянно должен бежать – либо ты догоняешь, либо догоняют тебя. Иногда стены становятся ниже, и ты перепрыгиваешь через них. Но только для того, чтобы увидеть такие же стены. Итак, спрашивают его: что же такое мир? Мир, говорит он, – это бег и стены. Ну и третьего кота спрашивают: что это такое, мир? Мир – это когда ты ничего не видишь, потому что не знаешь, как это, только чувствуешь вокруг себя воду, много воды, ты в воде, погружен в воду, и где-то в глубине ее чернеет страшное дно, а по краям – деревянные стенки, которых ты не видишь, лишь ударяешься слабым своим телом. Ты делаешь несколько вдохов и захлебываешься водой. Вот что такое мир.

Я не знал, что сказать, поэтому просто нажал кнопку на панели возле руля. Заиграла мелодия, раздалась ненавязчивые тихие голоса. Музыка была самым странным, что случалось со мною в жизни. Самой большой загадкой. Я не знал, что она такое, откуда она берется. Мы находили ее на пустыре возле Башни или на берегу Левого моря – маленькие коробки с кнопками, включали и слушали. Искали ее и в тот раз, но не смогли найти, такое случалось и не особо нас расстраивало: ну не нашли – будем слушать старое, решали мы.

И хотя в ней часто звучали человеческие голоса, я не ассоциировал музыку с живыми людьми. Она была находкой, артефактом, который приводил севастопольцев в ужас. А мы любили ее.

– Вот такой он, мир, – продолжала Фе. – Разный. Понимаешь? Просто можно по-разному видеть.

– Расслабься, – бросил я. – У нас все одинаково.

И тогда она сказала:

– Я люблю тебя.

Не зная, что можно ответить, помню, я крутанул колесо громкости так сильно, что мелодия залила собой всю улицу, все дворы рядом, да что там – казалось, весь город залила собой.

– А ты любишь группу «Опять 18»? – спросил я. Я не понимал этого странного названия, но так было написано на музыке.

*Мелодия света домчит нас до рассвета
Еще пара куплетов, и мы сделаем это, —*

доносился ровный речитатив.

– Все люблю, – шептала она как в забытии, беспамятстве. – Я люблю любить. Люблю любовь. Так прекрасно...

Я быстро домчал до себя. Запрыгнул в кровать скорее, желая остаться незамеченным. Из окна виднелся мрачный мол, и мерцал на краю города маленьким красным огоньком маяк. Смотритель зорко следил за тем, чтобы не пошатнулось Бытие.

А я задвинул ставни и предался самому сладкому сну, какой только могу теперь вспомнить.

Мама

Иногда мы играли в мяч на дальнем поле. У меня был старый мячишко, выменянный у кого-то из обычных горожан – то ли на дивного жука, то ли на полезную подкормку для растений. Какое-никакое развлечение! Я подключил к нему Инкера, и мы оттачивали это мастерство – отнимать мяч друг у друга и закидывать между высоких ветвей огромного дерева, в «вилку», мы говорили. Я не видел других мячей в городе и очень дорожил этим – обветшалым, потрепанным, приобретшим землистый цвет, как старая половая тряпка. Мяч тоже был мне кем-то – или чем-то – вроде друга, я боялся его потерять. Чтобы подольше не прощаться с ним навсегда, я стал все реже с ним видаться, и теперь, как у прежнего владельца (чем, кроме мяча, был примечателен тот человек?), мяч валялся в моем сарае.

Надо сказать, Инкермана не воодушевляли игры в мяч. Он всякий раз качал головой в ответ на мое предложение, многозначительно мычал и цокал, но никогда не отказывал. Не хотел меня разочаровывать – такой уж он был человек. Не знаю, отчего он был такой. Да и своих идей у него не было.

Я вспомнил о мяче, едва проснувшись. Отчего он стал первой мыслью, и было легко подниматься с нею, потягиваясь, выходить во двор? Мне было радостно и светло от встречи с Фе, чье дыхание я еще чувствовал, чьи поцелуи помнил. Я был крепким и здоровым человеком, мне нравилось ощущать свою силу, свою походку. Я был радостен оттого, что во мне билась жизнь. Жизнь текла по мне, бурлила внутри моего существа каскадами безумных водопадов.

Насвистывая, я дошел до нашего ветхого сарая, дернул щеколду и отворил дверцу. Мяч ждал меня.

– Конечно, – заговорил я с ним, как с живым. – Ну а куда ты денешься? Кому ты еще тут нужен, правда, мяч?

Будь у него щеки, я потрепал бы их. Но мяч и так был почти сдут, не стоило выпускать из него последний воздух. Я захлопнул дверь сарая и только теперь заметил, что недалекие не заняты своими привычными делами – не таскают ведра, шланги, не носятся с граблями и тяпками наперевес, не делают всего того, чем привыкли заниматься. Они сидели на лавке и стульях – и внимательно смотрели на меня.

– Привет всем, – сказал я неуверенно.

Странно, а эти что делали здесь? Зачем-то в наш двор пришли соседи, причем даже из дальних – живущие за три, за пять, за десять домов от нашего. Они стояли, облокотившись на стены, забор, большие деревья. В моем родном дворе было негде упасть яблоку – не то что в моей машине совсем недавно. В нашей с Фе машине.

«Кто-то отмер?» – тревожно подумал я и обвел быстрым взглядом собравшихся. Не стоят ли где-нибудь в тени старого ореха неприметные носилки, не слышен ли резкий запах дезинфекции, за который у нас так не любили врачей? Да и вообще, за что было любить их?

Нет, ничего такого не было. Но в воздухе все равно чем-то пахло. Определенно. Я только не мог понять чем.

– Вы хотите сыграть? – Я решил перевести все в шутку и выбрал соседа примерно моих лет – вертлявого, рыжего. Он смотрел на меня как на диковинного зверя, его шея вытянулась, глаза округлились. – Я надеру вам ваши задницы. Лови! – крикнул я соседу и бросил в его сторону мяч.

Тот отшатнулся и едва не упал, поскользнувшись на мокрой, политой из шланга листве.

– Хватит! – раздался голос, настолько грозный, что, окажись я в тот момент в другой части города, или в метро, или по уши под водой Левого моря – и тогда услышал бы его. Это заставило насторожиться.

– Папа? – переспросил я. Давно не видел его таким.

– Надо поговорить, – сказал он. – Есть новости.

– Да какие это новости! Я был с друзьями. Мы катались к линии возврата, ходили-бродили, гуляли, короче... Ты же сам говорил, что это давно не новости.

И тут я услышал то, чего не ожидал услышать никогда. В разговор вступила мама – она встала и подошла ко мне.

– Нет, есть другие новости, – сказала она. – Тебя приглашают в Башню.

Сидевшие позади нее встали и зааплодировали – и аплодисменты подхватили все до единого, кто присутствовал в моем дворе. На лице мамы блеснула слеза. Ее лицо было печальным и торжественным. Так же выглядели и остальные.

– Мы хотели сказать тебе, но ты все спишь и спишь.

– Но откуда вы знаете?

– Сорока на хвосте принесла, – пожала плечами мама.

Ну да, как я мог забыть о севастопольском почтамте! Он же – единственная служба, которая могла иметь связь с Башней; по крайней мере, высоченный забор, за которым та укрылась от остального города, не мог быть для нее помехой. Сороки приносили приглашения оттуда, но посылать что-то в саму Башню было бессмысленно – из нее никогда не приходило ответов, да и разумных вопросов к ней не находилось. Потому севастопольский почтамт работал преимущественно «по низам».

– Тебе надо идти, – твердо сказала мама. – Собираться.

– Конечно. – Меня затрясло, словно внутри произрастали, как в плодородной земле, тысячи свежих семян, расправлялись и крепили молодые побеги неизвестных дивных растений – стебельки новой жизни. Я готов был взорваться, лопнуть от нахлынувшего чувства. И лишь где-то внутри, в черной глубине этой почвы, прокладывал свои подземные ходы слепой страх – страх перед неизвестностью того, что теперь меня ожидало.

– Конечно, надо идти, – зашептал я, заговорил все быстрее и громче, как заклинание: – Конечно, пойду, конечно, пойду, мама.

Я подпрыгнул и взвизгнул от радости, а потом обнял маму и приподнял ее над землей. Какая же она была тоненькая, легкая, будто пушинка! Меня становилось больше в городе, ее – меньше. Она исчезала, таяла. Когда-нибудь будет иначе, все когда-нибудь будет иначе... Думал ли я в тот момент, что больше ее не увижу?

Нет, не думал.

– Знаю, мам, ты, конечно, не любишь, – тараторил я, – не принимаешь то, что я не сижу тут с вами, что по вечерам не смотрю, да и огород... ну какой из меня огородник? Что скучно, скучно, главное – вот это скучно. Не обижайся, мама. Я люблю тебя. Люблю вас всех. Люблю весь мир – наш славный город Севастополь! Но что поделаешь, если я хочу большего? Больше, чем возможно в этом городе?

– Помни, сын, я всегда говорила тебе: в этом городе есть все для счастья. Но это для нас, у тебя, знать, другая судьба... – спокойно сказала мама. – Ты получил большее, тебя признали достойным. Что еще может быть большим здесь? Мы гордимся тобой, сынок. Сколько в этом городе людей, а выбрали только вас!

– Вас? – удивился я.

– Вас, вас, – недовольно сказал папа. – Тебя и друга твоего. Известковолицего, – он ухмыльнулся. Инкермана папа никогда не любил, считая изнеженным шалопаем, совсем не похожим на то, как должен был выглядеть, по его мнению, «нормальный парень». – И девок гуляющих ваших.

– Феодосию? – ахнул я.

– Ну... И ее тоже. Вы лучшие люди города, не зря артеки кончали, – развел он руками. – Я вот думаю: что-то в нашем городе пошло не так. Мы стали забывать, что по-настоящему...

– Ну хватит, – цыкнула на него мама.

– Эти, из Башни, не должны диктовать нам...

За спиной у папы поднялся шум: соседи подключились к обсуждению, перешептывались между собой.

– Хватит же! – гаркнула мама. И тогда папа махнул рукой.

– Ладно, – сказал он. – Сдаюсь. Лучший так лучший. Прощаться не стану. – И он ушел в дом. Скоро из-за стен послышался треск, шум, стук: папа как ни в чем не бывало продолжал ремонт – еще одно бесконечное увлечение севастопольцев. Соседи начали расходиться. Я стоял и не знал, что сказать. Эйфория прошла, наступило замешательство.

– А они... ну, друзья мои, знают?

– Я думаю, они уже все в сборе, – сказала мама. – Понимаю, ты привык не торопиться. Вот только это, кажется, совсем не тот случай.

– Да я немедленно пойду! – воскликнул я. – Нет, это фантастика! Ну надо же.

– Вас ждут возле маяка, – прошептала мама, доставая платок. – Туда подойдет лодка.

– Я побежал за машиной!

Только возле самой калитки я, дурья башка, сообразил: *мама*. В этом одном слове, собственно, было все. И то, что было, и то, что будет. И то, что всегда есть.

Но только в тот миг я мог протянуть руки и дотронуться до нее. И миг этот таял, дробился, ложился, как пыль, на полку воспоминаний. А я еще находился в нем.

– Мама, – я сказал все, что думал.

Она расплакалась, и я не хотел этого. Не хотел, чтобы это легло на полку. Не много ли я не хотел?

– Мы теперь будем смотреть в небо, – только и выдавила она из себя. – Дольше. Гораздо дольше обычного.

Мне было нечего ответить, и я ждал, пока она выговорится. Но мама, видимо, тоже не хотела много говорить.

– Мы будем скучать. И папа будет. Это он так... Да знаешь, весь Севастополь будет скучать по тебе!

Помню, заметил, как быстро высохли глаза матери; а ведь она так и не поднесла к лицу платок. Я удивленно вскинул брови, поняв, о чем были ее последние слова, и, будто выпуская из себя весь воздух, как из того мяча, что мне больше не пригодится, выдохнул:

– А разве Башня – это не Севастополь?

Прибытие

Она дважды энергично хлопнула в ладоши и широко раскрыла рот, готовясь продолжить поставленную речь.

– Видите ли, ребята, в чем дело. Вы все приглашены в это место, которое называли Башней. Я бы сказала, что вам оказана высокая честь, на вас возложены большие надежды. Но обойдусь без пафоса.

Мы находились в дивном зале с небольшой квадратной площадкой пола, в который были вмонтированы пять кресел в ряд и стойка с микрофоном напротив, и высоченными стенами, уходящими настолько высоко, что страшно было смотреть на них снизу: кружилась голова. Стены казались живыми, хотя, разумеется, это была лишь иллюзия: за их прозрачной толстой оболочкой сиял ярко-желтый камень. Под разным углом зрения он казался то темнее, то светлее; с кресла, в котором я сидел, вообще казалось, что камень плавится и стекает нескончаемой жижей сверху вниз. Я долго смотрел, завороченный, как только попал сюда, и встречавшей нас милой женщине даже пришлось слегка подтолкнуть меня.

– Меня зовут Ялта. – Она протянула мне руку и, когда я запоздало догадался, что ее надо пожать, уже убрала. Инкер так и вовсе прошагал мимо, насвистывая. – Я введу вас в курс дела.

В зале все казалось крохотным – верно, на то и рассчитано, понял я: узри, маленький человек, все величие места, в котором ты оказался. Я испытывал двойственные чувства: величие мне нравилось, необходимость чувствовать себя маленьким – нет. Хотя оба ощущения находились друг от друга в прямой зависимости, питали одно другое, перетекали и смешивались – наверное, в такую же лаву, как та, что я видел в стене.

– Введите нас в курс дела, почему мы так долго и странно сюда добирались? – возмутилась наглая Евпатория. – Что, с вашими-то ресурсами, и нет возможности все сделать как-то посолидней? Тем более для дорогих гостей.

Ялта, казалось, не сдерживала гнев – просто не испытывала его. Я вообще не смог бы представить эту женщину гневающейся: крупная, улыбчивая, с большими красивыми губами и черными выющимися волосами, в которые были вплетены странные блестящие пятиконечники, она осознавала собственную красоту и понимала: любая бестолковая суета, а гнев, конечно, суеюю и являлся, ее не украсит. Увы, но Евпатория, моя подруга, была далека от этой простой, казалось бы, истины.

Хотя в главном я с ней был согласен: нас вез на раздолбанной лодке странный лысый человек, близкий к категории поживших, и всю дорогу только громко кашлял, но ничего не говорил. Я опасался, как бы его корытце не перевернулось в дороге. Увы, даже если легенда о «втором метро», ведущем в Башню, и была правдой, им все равно не пользовались. Под конец пути мы направились к низкому гроту, и наша компания заволновалась – уж не обман ли все это, не розыгрыш? Тогда лысый проводник ослабил и сказал свои первые – и единственные – слова:

– Пещера влюбленных, – произнес он медленно, торжественно и вместе с тем настолько гаденько, что хотелось немедленно вышвырнуть его из лодки. Но мы уже попали в грот и долго шли в темноте.

– Вряд ли бы вы нашли этот путь сами, – пояснила Ялта. – Он вроде и очевидный, но при этом такой странный, что поверить в него тяжело, даже теперь, после того как вы его проделали. Я ведь права?

Глядя на эту женщину, хотелось говорить ей, что она права, постоянно. Все из-за пятиконечников, думал я.

Маршрут был и вправду странным: мы шли в полной темноте вдоль холодной скалы, в черной воде сверкали медузы, а с другой стороны лодки проходила линия невозврата.

Мы не помещались между скалой и линией, и часть из нас постоянно меняла положение, как меняла его и конфигурация лодки. То, что происходило, казалось невозможным и диким – хотя каждый из нас множество раз за жизнь и пробежал, и проползал, и пролетал на сумасшедшей скорости линию возврата, но подобного мы не видели никогда. Мы словно расплескивались сами, как брызги из-под весла провожатого, мы плясали, как блики в воде, как игрушки в руках Бытия и Небытия, балансируя на тонкой грани между ними, как на цирковой ниточке. Мы были, мы существовали, и каждый из нас был собой, единым целым собой. Но в первый раз в жизни ко мне пришло это тяжелое и страшное ощущение – боязнь потерять себя. Боязнь исчезнуть.

Где-то вдали зажегся факел и раздалось громкое шипение. Растворилась дверь, встроенная прямо в скалу – я никогда не видел такого прежде, – и ярко-желтый свет прожег черноту нашего пути. Он подходил к концу, мы окончательно сбавили скорость, и лишь сила течения несла нас к берегу. Там стояла с факелом в руке она – Ялта.

После того как мы ощутили под ногами землю, факел полетел в море. Последние капли света озарили его тихую гладь. Когда за нами задвигалась дверь – длинная желтая дорожка простиралась далеко, – я успел пробежать по ней взглядом и не увидел ни нашей лодки, ни проводника.

Теперь, проведя нас по узкому сводчатому коридору, откуда мы все наконец и попали в ослепительный Желтый зал, она стояла перед нами и объясняла правила новой игры, которой предстояло стать для каждого из нас жизнью.

– Не скрою, нам здесь известно, – она улыбнулась, – сколько походов, поездок вы совершали к нашей Башне, а сколько думали о ней, сколько она вам снилась! – Тут Ялта отчего-то посмотрела на меня, хотя что я? Мне вроде не так уж и часто снилась эта Башня. Или я путал явь со сном? – Вы гадали, объезжая ее, гуляя среди своих кустов, купаясь в морской воде или глядя из своих дворов, пока ваши недалекие совершали свои небосмотры. Вы гадали: какая в Башне жизнь? Как здесь обитают люди, и обитают ли? Или она – просто кусок металла, рукоять ножа, воткнутая в землю? А в нее – другая рукоять, и так... – на этих словах она улыбнулась уж слишком приторно, – до самого неба?

– Вы правы, – произнес я, не дожидаясь ее вопроса. И это было так: сравнение с рукоятками кухонных ножей мне тоже приходило в голову. Вообще же, множество предметов с кухни моих мамы и папы я мысленно примерял к Башне и всякий раз находил что-то общее. Похоже, что мы были не одни такие. Или же эта Ялта изучала специально нас?

– Хочу развеять ваши сомнения и начать сразу с этого вопроса, – продолжила женщина. – У нас здесь живут люди. Множество людей, очень много – мы называем их «резиденты Башни». Их – а теперь можно смело говорить «нас» – никак не меньше, чем в низовом Севастополе.

– Низовом? – ухмыльнулся, прищурившись, Инкерман. – Что это за слово: *низовом*?

– Территориально вы находитесь выше. Правда, не в данный момент. Но очень скоро это будет так. А говоря теперь о Башне, вы можете говорить и о себе. Это формальный термин, мы не отделяем себя от города и тем более не противопоставляем себя ему. Нам это не нужно. Жизнь в Башне замкнута и самодостаточна. Но мы, – она выдержала паузу, – неотъемлемая часть города. Другое дело, что Башня – это... Как бы элитный район. Здесь живут люди, у которых своя, особая миссия.

– Почему вы тогда отгородились от остального города? – нахмурилась Керчь, до этого не проронившая ни слова. Я заметил, что тот сектор зала, в котором сидели мы, был будто бы слегка затемнен, и лишь когда кто-то из нас начинал говорить, с невидимой высоты на него спадал жидкий луч света. То же случалось, и когда говорила Ялта, но ее освещал луч яркий, плотный – и в нем сияли, играя отблесками, серебристые пятиконечники. Но когда ей задавали вопрос и женщина умолкала, световой луч над ней также слегка темнел.

«Стиль», – вспомнил я короткое слово. Такого великолепия я, конечно, не мог видеть нигде прежде. В «низовом» Севастополе.

Женщина замолчала, и световой луч отчего-то не вспыхивал над ней. Зато в стене за ее спиной вдруг появился идеально матовый черный прямоугольник. Течение «жидкого камня» застыло, обрамляя его и словно давая понять всем собравшимся то, что в этот миг проговорила Ялта:

– Внимание на экран.

Мы переглянулись; пауза затянулась, но в черном прямоугольнике по-прежнему ничего не происходило.

– Теперь в презентационных целях мы покажем вам кино. Скорее, маленький ролик. – Впервые в ее голосе я отчетливо услышал усталость. Она взяла в руки предмет, похожий на гладкий черный камень, и довольно долго водила им перед экраном, развернувшись к нам спиной. Наконец прямоугольник залился розовым светом, на нем возникли суесящиеся объемные ромбики и статичная надпись:

TOWER POINT.

– Когда же эта хрень заработает, – ворчала вполголоса женщина, и наконец в зале стало темно, только возле самого пола в стене будто что-то тлело: «камешки» то вспыхивали, то вновь медленно гасли, а на экране между тем мы увидели Севастополь – наш родной город. Он был снят сверху, и я не понимал, как это возможно, пока не догадался: с Башни! Далеко, в самом верхнем правом углу экрана, виднелась точка старого маяка. «Они перевернули город», – догадался я. Изображение на экране было почему-то черным, но я быстро догадался почему: Севастополь, снятый с большой высоты, был городом, вполне соотносимым с нашим поколением, – тем самым, который мы покинули. Но авторы фильма-ролика хотели выдать нам его за Севастополь совсем других поколений. Ветхих, которых мы не видели, не помним и не знаем и которые несколькими слоями устлали дно Правого моря.

Но с высоты установленной камеры этих слоев, конечно, не было видно.

Кадры города, снятые с высоты, сменялись крупными планами: дворы, заборы, маленькие улицы, деревья. И вот здесь начинались странности: тротуары, крыши, ветки были покрыты чем-то белым – как будто одеялом или ватой. Я никогда такого не встречал в реальности. Если кто-то и решил соригинальничать, украсив собственный двор и близкий к нему участок улицы – что само по себе странно для севастопольца, – то я не понимал зачем. Притом на кадрах, снятых с высоты, ничего подобного не было.

Раздался закадровый голос – голос человека с жильцой, хриплый, но бодрый. Первые же слова удивили меня, ведь я совсем не понимал, о чем они:

– Шел снег, стояла страшная жара, – сказал голос.

Я понял вдруг, что меня пытаются банально развести: похоже, что это все было сделано с одной целью – показать, что действие на экране происходило множество множеств поколений назад, когда происходили такие вещи, о которых я и понятия не имею – да, впрочем, там ведь все что угодно могло происходить. Но где они снимали эти нелепые декорации? И зачем они вообще решили укрыть мой родной город этой непонятной белой пеленой? Неужели так завоевывается доверие? Я взглянул на Инкера – он сидел, открыв рот, и чуть ли не пускал слюну. Происходившее на экране полностью поглотило его.

Там замельтешили люди. Они были странно одеты: в толстые, мутного цвета одежды; на их головах были пушистые головные уборы, не чета нашим кепкам от солнца: было такое впечатление, словно они посадили себе на головы котов. Люди суетились, махали руками, подпрыгивали – было очевидно, что запись ускорена: наши размеренные, полные достоинства севастопольцы никогда себя так не вели.

– Что они делают? – крикнул я и тут же понял, что поторопился. Голос с экрана тут же принялся все объяснять.

– Вздошные горожане провожают первопроходцев – отчаянных смельчаков, решивших отринуть привычную, до боли знакомую жизнь ради построения новой – принципиально новой. Высотное строительство в городе было запрещено, но наши смельчаки выбрали место на самой окраине, возле северных пределов Севастополя, практически у Линии возврата, и постановили: здесь будет наш новый Бэбилонг.

– Что? – выкрикнул я с места.

– Наречие тех поколений, – тихо сказала Ялта. – Что означает «как можно дольше без жилы».

На экране скакали молодые люди – худые, с длинными волосами. Они держали в руках что-то наподобие факелов, которые тем не менее не могли – как ни старались – осветить черно-белый мир фильма. «Мы сможем больше», – кричали они, и над головами клубился дым: то ли пар от белого одеяла, гревшегося под их ногами и на их горячих телах и одеждах и оттого становившегося все тоньше, обнажавшего черную землю и мокрые щеки, то ли от странного горения. Они поджигали, должно быть, баловства ради, толстые круглые предметы, похожие на шины колес моего автомобиля или троллейбуса – а может, это они и были? Вот только зачем? Мне бы никогда в голову не пришло лишиться свою желтую принцессу ее быстроходных ног – лишь только чтобы за моей спиной развеялся красивый черно-белый пар?

– «Мы вырвемся к небу», – кричали герои, – продолжал закадровый голос. – И город им аплодировал, город плакал.

Экран стал окрашиваться в цвета; первым появился красный – цвет возводимых стен новой Башни и крови павших у ее подножия изможденных первопроходцев, положивших свои жизни к основанию новой, о которой самим им – увы – так и не было суждено узнать. Видеохроника стирала их, словно ластик: вот они были, и нет их. Затем проявился голубой – цвет неба, в которое рвалась Башня, и желтый – застывшее над всеми, кто живет и дышит, Солнце. Таким я уже помню наш мир. Таким я его видел.

Башня на экране выросла буквально из-под земли, как гриб, – за мгновения.

– Люди-первопроходцы обживались на стройке своей мечты, а простые севастопольцы ходили поглазеть и принести им пищу. Они поддерживали своих отчаянных земляков, но не хотели оставлять свои дома. Что ж, в этом есть справедливость, – рассуждал закадровый голос. – Ведь каждому свое?

«Не слишком ли он много на себя берет?» – мрачно подумал я.

– Эти люди – наши герои, – воскликнула вдруг Евпатория. – Они построили нам Чудо! Слава им!

– Городские дурачки и подглядыватели чужих жизней рыскали вокруг Великой стройки, ища, чем бы поживиться, – продолжал голос. Он вдруг приобрел железные, непримиримые нотки. Подглядыватели на экране выглядели отвратительно и ничем не отличались от дурачков, решил я. Словно мыши-полевки, коих мы встречали в большом количестве возле обрывов наших Правого и Левого морей. Они осторожно ступали, продумывая каждый свой шаг, пригнувшись, вытягивая длинные шеи и носы, и шарахались от каждого шороха. Я ухмыльнулся и повернулся к Керчи.

– Кажется, кто-то хотел посвятить себя писанине? – спросил я.

– Не торопи события, – буркнула Керчь.

– Чтобы оградить себя от них, – как ни в чем не бывало продолжил голос, как будто необходимость ограждать была очевидной, – отважные первопроходцы построили высокий забор и впредь пускали в Башню только по специальным предложениям. Для всех остальных Башня стала закрытой территорией – чем-то вроде закрытого города внутри другого закрытого города. И для всех поколений с той поры было и будет так.

– Погодите, – воскликнул я со своего места. – Вы хотите сказать, что Башню построили эти несколько несчастных человек, которых нам показали в начале фильма?

Ялта вскинула брови, словно была готова к такому вопросу и слышала его звучащим в этих стенах тысячи, если не миллионы раз.

– Да в Севастополе просто нет материалов, из которых такое можно было бы выстроить! – поддержал меня Инкер.

– Ошибка многих наших будущих резидентов, – устало сказала женщина, – в том, что они пытаются воспринимать наш презентационный фильм буквально. Конечно, здесь не ласпи, чтобы класть разжеванную информацию в рот. – Я скривился от ее сравнения. – Мы лишь показываем направление развития. Показываем через символы, значимые вехи. Мы объясняем, с чего все начиналось и к чему все привело. И в этом мы, поверьте, более чем достоверны. Если же быть достоверными во всех мелочах, то – простите за откровенность – ваших коротких жизней не хватит, чтобы успеть досмотреть такой фильм. – Она улыбнулась для убедительности.

Мы молчали, словно пристыженные: конечно, ведь можно и самим было додуматься до столь очевидной мысли.

– Не забываете, что это труд миллионов людей – гораздо большего количества, чем проживает в вашем, – она сделала акцент на этом слове, – Севастополе. У них были и знания, и умения, и, конечно, были материалы. – Ялта усмехнулась и поднесла ладонь к лицу: мол, глупость какая, сущие пустяки – материалы! – Но главное – у них была цель. Вот что их всех отличало. Все это, – она развела руками, – требовало жизней не одного поколения.

Только на этих словах я заметил, что фильм останавливался всякий раз, когда мы начинали говорить. Удивленный, я поспешил согласиться с ней:

– Разумеется. – И тут же вновь возразил, заставив застыть едва зашевелившееся полотно экрана: – Но как же к этому относились обычные севастопольцы? Горожане вроде нас, моих соседей, недалеких? Они что, смотрели на это сквозь пальцы? На то, что у них под носом строят огромную Башню до неба...

– Точнее, над носом, – сострила Керчь. Я бросил на нее взгляд, но не стал ничего говорить; пожалуй, что в плане носа ей было чем похвалиться.

– Они не запрещали? – продолжил я. – Ну, хотя бы из страха, что все дееспособные жители города перетекут в Башню и некому станет сажать овощи...

– О чем ты? – недовольно буркнула Евпатория. – Разве у нас что-то запрещали?

– Ты просто не знала об этом, – хохотнул Инкерман. – Потому что была занята ровно тем, что они как раз запрещали.

Тори недовольно взглянула на Инкермана, но смолчала под пристальным, тяжелым взглядом Ялты.

– Я вас умоляю, – вздохнула женщина. – Количество тех, кто просто смотрит в небо, в любых поколениях значительно выше, чем тех, кто в это небо стремится. Севастопольцы гордились и до сих пор очень гордятся лучшими сынами своего города. Но... – Она подняла вверх палец, и я, помню, даже улыбнулся: так хорошо врезался в мою память этот момент. – Но так как жизни Башни и Севастополя для удобства обоих были разведены и фактически не пересекались, то в этих разных непересекающихся мирах жили и развивались разные поколения... – Она осторожно помолчала. – Разных людей.

Она закончила говорить, а так как и мне, и всей нашей компании было нечего добавить, то фильм продолжился. Меня уже одолевали разные чувства, в голове роились проснувшейся от спячки мошкаррой новые вопросы, которые, прежде чем задать, предстояло понять, прочувствовать. И нервное переживание, успею ли, летало среди них тяжелой, грузной мухой и пожирало так и не успевшую увидеть света мелюзгу. «Успею, – успокаивал я себя. – У меня теперь вся жизнь в Башне. Успею, куда я денусь».

Нам показали – в ускоренном темпе, конечно, – как Башня росла, крепла, как в ней обжигались все новые и новые люди, не знавшие уже иного мира, кроме Башни. Но здесь всегда

были рады севастопольцам, которые стремились выше, не забывал объяснить голос. А затем нам стали показывать то, что внутри.

Признаюсь, меня не впечатлило. Какие-то нескончаемые ряды, дороги, огражденные справа и слева стеклом, – по этим дорогам летела, как под водой, камера, и от скорости ее полета кружилась голова. Камера поворачивала, слегка качнувшись, на очередном перекрестке и снова неслась между таких же стеклянных стен – все это напоминало знакомые улочки Севастополя, такие же одинаковые, только помещенные зачем-то в странный каркас Башни, лишённые того самого неба, на которое все смотрят... «Неужели это все, – разочарованно думал я, – на что могло хватить фантазии избранных севастопольцев?»

Но Евпатория, кажется, думала иначе. Она вскочила со своего кресла и, комично выпучив глаза и открыв рот, отчаянно жестикуюлировала:

– Вот это да! Какая красота, ребята! Я хочу туда! Да, я уже хочу-хочу-хочу!

Я не смог рассмотреть, что было за стеклами: там что-то блесело, сверкало, искрилось – играли краски, мелькали яркие таблички. Но камера проносилась слишком быстро.

– А что, мне нравится, – присвистнул Инкерман.

– Нормально, – сдержанно одобрила Керчь.

– Стойте, – сказал я, обращаясь к Ялте. – Это все, что там есть? Все, ради чего они...

Тут я заметил, как странно смотрит на меня Феодосия. Вся компания не отрывалась от экрана, я пытался услышать что-то внятное от нашей проводницы, и только она – Фе, моя прекрасная – отчего-то неотрывно смотрела на меня. У нее приоткрылся рот, глаза были влажными, словно она плакала, и казалось, ее ничто не интересует, кроме меня. Это было странным ощущением. Станным и диким.

«Почему?» – спросил я себя, помню. Но не стал спрашивать ее.

– Башня манила искателей приключений, – продолжал оптимистичный голос с экрана. – Людей, которым было тесно в привычных рамках. Знания, эмоции, возможности, наконец, принципиально иные развлечения – вот что привлекало их.

– Почему тогда снаружи никому об этом не известно? – снова прервал я, и недовольная Евпатория зашипела, извернувшись в мою сторону, будто змея.

– Башня не рекламирует себя, – пожалала плечами Ялта. – Это было бы глупо.

– Но почему? Если здесь все так замечательно. Ведь никто не знает.

Она не дала договорить, и впервые – в этом ее ответе – я уловил легкое раздражение.

– Сначала нужно что-то захотеть, – произнесла она. – И потом уже это реализовывать. А не наоборот. Не мне вам это объяснять, ведь вы – избранные.

И тогда я задал вопрос – как теперь помню те странные ощущения, которые при этом испытал: с этим чувством мне не доводилось иметь дел прежде, и вряд ли я смог бы подобрать слова, чтобы описать его, – этот вопрос удивил меня самого, я его не понял. И, сверх того, не понял и зачем задал его. Но я его задал.

– А когда все это было? – спросил я.

В зале повисла тишина. Евпатория пыталась возмущаться, несла какую-то нелепицу вроде того «Что он себе позволяет?», лица же остальных, включая Ялту, приняли такое выражение, словно по ним с размаху ударили камнем.

– Когда конкретно построили Башню? – уточнил я.

Наша проводница первая вышла из оцепенения.

– Этот вопрос еще не звучал в этих стенах, – холодно произнесла она. – Я поражена.

– Сам в шоке, – скромно улыбнулся я, стараясь снизить градус непонятного мне напряжения.

– Это было в прошлом, – процедила Ялта. – Такой ответ вас устроит?

– Вполне, – сконфуженно ответил я. Свой же вопрос выбил меня из колеи: невозможно было отделаться от чувства, что я допустил что-то непозволительное, лишнее. Даже не понимая, зачем я, собственно, это сделал.

Наша проводница поспешила перевести тему.

– В какой-то степени, – произнесла она, – мы – сверх-Севастополь. Над-Севастополь, если хотите. Обычный остался внизу.

– Я был против идей превосходства, – отозвался я. – Сколько себя помню, не разделял их.

– А я разделяла, – взвизгнула Евпатория, и все устремили на нее взгляды. Все, кроме меня. Я уже понимал, что сохранять спокойствие будет самым ценным умением во всем том приключении, которое нам предстояло. Пренебрегая им, подруга разочаровывала меня, а я не хотел смотреть разочарованию в лицо. – Да, я разделяю, мне здесь нравится!

– Мне кажется, – хмуро сказала Керчь, – тебе внутри этой Башни нужна еще своя собственная маленькая башенка.

О да! Что-то, а подвести итог эта короткостриженная всегда умела.

– Это не превосходство, – громко сказала Ялта. – Резиденты Башни обладают всем тем же, чем и остальные севастопольцы, но еще и другим. Мы стремимся в Вечность. – На этих словах по экрану за ее спиной пробежала рябь. – Каждый находит здесь себя и свое. Кто-то останавливается. Кто-то – исполняет свою миссию до конца. Башня дает две вещи, которых не дает город: возможность и выбор. Вы теперь резиденты – вы избранные, – повторила она вновь, словно в ее задачи входило вдалбливание этой мысли в неразумные наши головы. – Понимаете?

– Мы избранные, – твердо ответил я. – Понимаем.

– Простите, – спросила Евпатория с деланным придыханием, – а вы уверены, что этот – точно избранный? – Она показывала на Инкермана своим длинным пальчиком, представляете? Я не мог поверить своим глазам. – Он курил сухой куст там, в городе.

Инкерман ступешался. «Вот же ты и дура», – подумал я. Но Ялта не стала ничего отвечать, вместо этого слегка качнула головой, и странное кино продолжилось.

Теперь на экране мелькали счастливые лица людей. Кто-то плавал в огромном искусственном водоеме, дурачась в такой же беззаботной, как сам, компании, кто-то сидел в длинном и узком зале, уставленном массивными столами, и читал толстую книгу, каких я никогда не видел у нас. Кто-то закрывал ключом дверь и отправлялся по бесконечному коридору, вдоль таких же одинаковых дверей. Глядя на все это, я чувствовал себя немного обманутым: да, то, что нам показывали, вроде бы и удивляло – в первую очередь тем, что встретить таких людей и такие пространства в городе было попросту невозможно. Но вот завлекало ли? Я не понимал. Ну, улыбаются люди, ну, хорошо им. Так ведь и мне было неплохо. Женщина примеряла наряды фантастической, как показалось мне, красоты: люди внизу ведь ходили, как правило, в сером. Ну, или белом в горошек, максимум – полосатом. Красивая, быстро оценил я и тут же столкнулся с колючим взглядом Феодосии: она что же, читала мои мысли? Мимо женщины на экране прошел молодой человек, бросив в ее сторону осторожный взгляд. В руках он держал лампочку – обычную, казалось, электрическую лампочку, ну, может быть, больше обычной. Средних размеров. Я задал вопрос – из любопытства. Мог и не задавать ведь, но стало очень интересно.

– Могу я спросить? Зачем ему, собственно, лампа?

Внезапно экран исчез, растворился, словно его и не существовало, и во всем помещении вдруг стало так светло и ярко, будто сверху, с недостижимых высот, на нас пролились испокон веку ведро света.

– Вот так, без лишних прелюдий, – на этом странном слове Ялта отчего-то запнулась, будто вспомнив что-то, не имевшее отношения ни к нам, ни к Башне, – мы подошли к главному вопросу. У каждого из вас есть миссия. Она, как и все гениальное, проста. Меняется все в этом

городе, поколения уходят друг за другом, а миссия избранных, которые пополняют наши ряды, остается прежней. Вам нужно донести до вершины Башни лампу.

– Лампу? – ахнули мы в один голос.

– Да, – торжествующе произнесла Ялта. Глаза ее сверкали. Похоже, она любила этот момент в своей работе. – И вкрутить ее там, зажечь.

– Пронести лампу к вершине Башни и куда-то там вкрутить? – По правде говоря, я не верил своим ушам.

– Это только звучит просто, – мягко сказала Ялта. – Вы можете ее потерять, разбить, если будете неосторожны... Вы можете не захотеть идти дальше и просто оставить все как есть. Никто не станет вас принуждать и гнать на вершину Башни. Эта миссия – почетная, только вы решаете, справитесь ли с ней, по плечу ли она вам...

– И что дальше? – скептически хмыкнула Керчь.

– Увы, я не могу вам сказать этого. Просто не знаю. Моя миссия – здесь.

– Что еще мы можем у вас узнать? – спросил я, вставая. «Миссия», «дойти до вершины», «вставить куда-то лампу» – все это никак не вязалось в моей голове с представлениями о Башне, о свободном мире, об избранности, в конце концов. Да и само по себе звучало странно, даже дико: ну зачем, скажите, преодолевать расстояние до неба, чтобы вставить какую-то лампочку? Даже в нашем двухэтажном городе, внизу, для этого были особые люди – электрики. Может, они есть и здесь? Я решил не тянуть и отправляться в путь.

– Ну, например, где вы возьмете лампы.

– И где мы возьмем их? – безразлично спросила Тори.

– Вам выдадут на первом уровне нашей Башни.

– А если мы не хотим брать лампу... – протянула подруга.

– И это все? – прервал ее я. – Так где у вас тут лестница? Я пошел. Если хотите, – я посмотрел на Евпаторию, потом на остальных, – захвачу и ваши лампы, поднимусь, вкручу их куда надо.

– Лестница? – переспросила Ялта. – Вы собираетесь преодолеть Башню по лестнице?

– А что, есть варианты? – пожал плечами я.

– Сообщение между уровнями Башни происходит посредством скоростных подъемников, – твердо сказала Ялта. – Их проще увидеть, чем описать, тем более в городе вы ничего подобного встретить не могли. Мы называем их – социальные лифты.

– Любопытно, – хмыкнул Инкер.

– Социальные лифты поднимают вас между уровнями Башни. Как вы можете догадаться – вы ведь всю жизнь смотрели на нашу Башню снаружи и вполне представляете ее высоту, – речь идет о больших расстояниях. Уровень Башни может состоять из нескольких этажей, перемещение между которыми организовано разными способами, но между уровнями перемещает только социальный лифт. Я попрошу вас быть внимательными, – она бросила строгий взгляд на Евпаторию, которая повернулась к Фе и что-то шептала ей, – и запомнить то, что я теперь произнесу. Это один из главных законов Башни, который вы никогда не сможете обойти, даже если вам будет очень хотеться. Итак, запоминаем: социальный лифт работает только в одну сторону. На подъем.

Пораженные, мы замолчали.

– В нашей Башне вы можете все что угодно, но только не вернуться назад. Попав на более высокий уровень, вы сможете двигаться только вверх, только вперед.

– Получается, и выбраться из Башни тоже будет нельзя? – воскликнул Инкер, и женщина искренне засмеялась.

– Выбраться? Поверьте мне, у резидентов Башни никогда не появляется желания, как вы сказали, выбраться. Башня прекрасна именно тем, что каждый находит здесь то, что нужно именно ему.

– Но это же неправда! – воскликнул я и тут же осекся: – Нет, то, что каждый находит... это, может быть, и правда. Хотелось бы в этом убедиться. Но то, что из Башни никто не возвращается...

– А у вас есть в этом сомнения? – Казалось, глаза Ялты сверкнули – в точности как пятиконечники в ее волосах, и этот свет прошел мне самое сердце ледяными металлическими нитками: не сомневайся, не сомневайся...

– Но смотритель маяка, – старался не поддаваться я. – В городе всегда говорили, что наш смотритель *утверждается* в Башне. Что он узнает здесь что-то такое, чего никогда не узнаем мы.

– Вы это видели? – насмешливо, как мне показалось, спросила Ялта.

– Я? Нет, конечно, я не... Но...

– Можно быть уверенным лишь в том, что видишь собственными глазами. Следуйте этому принципу в Башне, – сухо сказала она. – Что ж. Наше знакомство подходит к концу, вам пора прокатиться на своем первом социальном лифте. Поверьте, это будет незабываемо!

– Вы не ответили, – не унимался я. – Смотритель маяка в Севастополе – он утверждается в Башне или нет?

Казалось, Ялта была в замешательстве. Но надо отдать ей должное, справилась с ним быстро:

– Смотритель такая фигура – к нему слишком много внимания. Вы никогда не думали, что смотрителем может быть простой работяга? Просто его жизнь... ну и организация работы несколько отличаются от привычных. Такое всегда не дает покоя.

– Работяга-смотритель? Как вы себе такое представляете? – воскликнул я. – Вы хотя бы раз бывали в Севастополе?

– Мы с вами в Севастополе, – мягко ответила Ялта. – И поверьте, вы очень скоро забудете о смотрителе. На вас возложена куда более ответственная миссия. Тот, кто сумеет завершить ее достойно, – это высшая фигура, и не только в Башне. Это – почетный член города, севастополист.

– Севастополец? – переспросил я.

– Нет, – покачала головой Ялта, и в ее черных волосах тут и там сверкнули, будто капли утренней росы, серебристые пятиконечники. – Севастополец – это ты, он, я, каждый из нас, кто вышел в мир, кто появился. Севастополист – тот, кто выполнит миссию. Кто пронесет лампу и сделает последний шаг в Бесконечное Былое.

– То есть пока ты не он, – неожиданно вступила в разговор Феодосия. – Но ты можешь стать им, если будешь стремиться. Ты человек широкой души, у тебя получится.

– А ты? – растерялся я. – Ты ведь со мной? Вы все? – Я окинул взглядом ребят.

– Мало кто попадает наверх. Большинство остается. Помните, как высока наша Башня. Она не скоростной лифт в небо. Здесь кипит жизнь. – Ялта внимательно осмотрела каждого из нас. – Вас ждет много испытаний.

– Драконы, монстры? Я читала в ветхих книжках, – скептически ухмыльнулась Керчь.

– Нет, – женщина приложила ладонь к виску. – Все ваши испытания здесь. Только здесь.

– Тогда при чем здесь эти лампы, миссии? – спросил я.

– Вы избраны Севастополем, – тихо, почти шепотом произнесла Ялта. – Вы нужны ему, понимаете?

– Я готов, – твердо сказал я.

Не говоря больше ни слова, Ялта прошла мимо нас в другой конец зала, жестом показав, чтобы мы отправлялись за ней. Вспышка света озарила затемненный прежде угол, и я обнаружил узкий проход. Наша провожатая нырнула внутрь него, не обернувшись. Инкерман вопросительно взглянул на меня.

– Чего теперь дергаться, – шепнул ему я и пошел вслед за Ялтой. Путь оказался недолгим: спустя шагов пятьдесят мы оказались возле раздвижных дверей. Они раскрылись, и я, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь.

Капсула лифта выглядела весьма аскетично – выкрашенные в белый цвет стены, пол и потолок. В несколько рядов стояли странного вида столбы, обмотанные жгутами. К столбам крепились мягкие подушки. Я наскоро огляделся и присвистнул. Больше в лифте ничего не было.

– Такие социальные лифты установлены по всей Башне, именно на них вы будете перемещаться на верхние уровни, когда посчитаете нужным. Этот отличается только тем, что его запущу я.

– Вы не отправитесь с нами?

– Нет, мое место здесь, – покачала головой Ялта, – встречать избранных. Теперь я помогу вам закрепиться на своих местах, и вы начнете подниматься. При подъеме постарайтесь расслабиться и не открывать глаза. Возможно легкое головокружение, головная боль. В принципе, это все, что требуется знать.

Керчь подошла к столбу первой. Провожатая опустила подушку к ее голове и, когда та облокотилась на столб, принялась обтягивать жгутами. Затем наложила на лоб и глаза девушки белую повязку.

– Не переживайте, – сказала она мягко. – Вы резиденты, вам здесь ничто не угрожает. Это – ваш дом. Запомните: когда вы будете перемещаться самостоятельно, каждому из вас потребуется лампа. Если вы потеряете или деформируете свою лампу, то навсегда останетесь на том уровне, на котором это случится. Чтобы попасть в лифт, вам нужно будет вызвать его, покрутив лампой в разьеме вызова. А для того чтобы начать движение вверх, вы должны будете вкрутить лампу в другой разъем. Он будет располагаться рядом с вашим местом в социальном лифте. Когда подниметесь, вы сможете выкрутить и забрать лампу.

Я подошел к своему столбу последним. Мне постоянно хотелось спросить ее о чем-нибудь еще, но в голову не приходил ни один вопрос.

– Когда вы окажетесь наверху, отправляйтесь в Электроморе. Я желаю вам всем успехов.

– И это все? – вырвалось у меня.

Мое тело перетянули жгуты, а голова, хоть и упиралась в подушку, чувствовала боль. Виски пульсировали, по лбу струился пот. На глаза надвинулась мягкая белая повязка, и я перестал что-либо видеть.

– Есть кое-что еще, – прошептал голос провожатой, и теплая ладонь коснулась моих губ. – Я в тебя верю. У тебя есть все шансы, севастополист.

Я замычал, но тут же осекся: кажется, она понимала, что я хотел сказать – никто из нас не был севастополистом в том значении этого странного слова, которое сама же объяснила. Мое тело, связанное жгутами, дернулось навстречу Ялте, словно бы я сам превратился в один большой знак вопроса, вопиющий об объяснении. Почему она так сказала? Почему я?

Она убрала ладонь, и я ощутил ровное дыхание Ялты, услышал, как открываются ее губы и вылетают, застывая между нашими лицами, медленные слова:

– Ты спросил о *времени*.

II. Новая жизнь

Сам подъем на социальном лифте оказался стремительным. Мы не успели не то что заскучать – вообще понять, что происходит. Но вот прийти в себя после того, как ослепительно белые створки капсулы раскрылись и мы очутились снаружи, стало тем еще испытанием.

Голова казалась потяжелевшей, напряглись все сосуды шеи, лицо побагровело, виски нещадно пульсировали, а глаза болели так, словно их кто-то пытался выдавить – причем этот кто-то сидел в твоей же голове. Само же тело, напротив, ощущалось воздушным, потерявшим вес, готовым взлететь, упорхнуть, и лишь свинцовая тяжесть головы пригвоздила его к этому месту, куда мы попали: длинному коридору с ничем не примечательными стенами, полом и потолком. Вначале не получалось идти – тело не слушалось, не контролировалось мозгом, и мы упали кто где, прислонившись спинами к стенам, и лишь тяжело дышали. Говорить было выше наших сил, даже думалось с большим трудом, и каждая мысль приносила ощутимую боль, как удар тока. Никто из нас не был к такому готов, и уже впоследствии, вспоминая с содроганием социальные лифты, я сделал предположение: может, таким образом нас хотели привязать к своему уровню, закрепить на нем, отбивая желание двигаться выше или фантазировать на темы возможного спуска вниз. Я вам скажу: чтобы добровольно воспользоваться этой штукой снова, потребовалась бы стойкость.

В тот, первый, раз мы приходили в себя очень долго, нам даже казалось, что никогда не придем. Чтобы перетерпеть боль и беспомощность, я старался не фантазировать о том, что нас ждало на уровне, не строить догадок. Вспоминал. Вглядываясь в казавшийся бесконечным коридор, я не пытался сконцентрироваться на его очертаниях, напротив, решил раствориться в мутных пятнах, которые плясали перед глазами, и обнаружить в них собственные воспоминания.

Я вспоминал Ялту. Интересно, видела ли Фе, как та провожала меня, как шептала, прижавшись ко мне? В конце концов, я не хотел этой странной сцены; я думал о Фе, когда мы все шли к лифту, думал о миссии, о том, что нас всех может ждать. Вряд ли я думал о Ялте – ведь ее-то миссия выполнена, и она прекрасно понимала, как и я, что наши пути больше не пересекутся. Так что же – она всех так провожает? И почему ее так удивило, что я спросил «когда?» Ну да, сморозил глупость, как понял сам почти сразу же, но я не хотел ни разозлить ее, ни впечатлить – я вообще не думал о Ялте. То, что я услышал от нее, увидел на экране, родило во мне столько мыслей, что я едва за ними поспевал. В городе, нижнем – для удобства – Севастополе мне не приходило столько мыслей и догадок, не рождалось столько сомнений... И я сам был поражен, когда вдруг ни с того ни с сего оно вырвалось, это «когда?». Я сам не понимал, что оно значит.

«Ты спросил о времени...» Но ведь о нем знают все, я уверен, и Ялта знала. Было, есть и будет – так с самого рождения нам говорили те, кто уже видел мир, знал о нем что-то. *Я был, я есть и я буду* – таков в этом мире я. Таков каждый севастополец. Таково устройство нашего города и бытия. Я лишь хотел конкретизировать, задав ей тот вопрос. Впервые мне показалось, что чего-то остро не хватает, чего-то важного... Я не помнил этого чувства в городе – оно пришло здесь, в Башне.

Но почему она думала, будто я что-то знаю? Ведь мои знания были так же крохотны, как сам я возле стремящихся в небо стен Башни.

Я пытался сфокусироваться на лицах друзей, и все, что видел в них – усталость и страдание. Нас всех пригласили в Башню, и каждый был счастлив попасть сюда, но отчего-то я испытывал мерзкое чувство: будто это я втянул их в это странное, ненужное приключение, выдернул, словно растение, с корнем, питавшимся соками родной, пусть и скупой земли. Что они будут делать здесь? А что буду делать я?

Моя голова бессильно упала на грудь, и я отрубился. Снов не было, и, уже очнувшись, возвратившись к жизни, я, помню, подумал: жизнь сама превращалась в сон, и, закрыв глаза, мы нуждались в переживаниях и впечатлениях, невозможных в реальном мире; но отныне в реальном мире, кажется, было возможно все. Нам нужно было просто отключиться.

Шум

Когда же я очнулся, все снова было в порядке. Я больше не вспоминал ни о Ялте, ни о социальном лифте, ни о пережитом ужасе – друзья поднимались рядом, делали робкие шаги, зевали. Нам всем было безумно интересно, куда мы попали, что нас ожидало впереди, на другом конце коридора. Я подошел к Фе и обнял ее. Но никто не знал, что сказать, и в длинном коридоре царило молчание. Пока его не прервала наконец Евпатория.

– Я не могу, – воскликнула она, глядя в зеркальце. – Это какое-то хамство! Они что, не могли позаботиться о комфорте? Ведь мы избранные!

– Не все, – хмуро сказала Керчь, сбивая грязь и пыль со своих черных брюк.

– Что? – Евпатория вскинула брови. – Это, может, ты не хочешь быть избранной! Замухрышка.

– Повтори? – презрительно скривилась Керчь, в ее голосе было что-то угрожающее.

– Я прикалываюсь, – замешкавшись, ответила Евпатория и вдруг замахала руками, будто диковинная стрекоза крыльями. Мы видели таких возле стен Башни, в кустах. – Я же шучу, глупенькая.

– Эта, кажется, приехала, – бросила Керчь и пошла по коридору, не оборачиваясь. – Кто-то со мной?

– Все с тобой! – раздался жизнерадостный голос, это Инкерман вышел из спячки. – Или вы забыли? Мы тоже как бы избранные. Да, Фи?

Я облегченно вздохнул: признаться, Евпатория и Керчь достали своими «контрами». И кто их укусил? Мне не хотелось вдаваться в подробности спора: которая из них права, а которая – нет, какая умна, а какая красива. Я желал лишь одного – чтобы всем нам было хорошо. Чтобы каждый нашел здесь, в Башне, себя и свое счастье. С этой мыслью я собирался, с ней и вошел сюда. Друзья были дороги мне. Но лишь Инкерман излучал по-прежнему ту неподдельную радость дружеского единения, непосредственность и раздолбайство, жажду удовольствия от жизни и любовь к ней. Мне довольно долго так казалось.

Мы все зашагали вслед за Керчью. Коридор петлял, извиваясь в неведомом нам пространстве Башни словно змейка, и мы уже начали тревожно переглядываться, как вдруг стены вспыхнули ярчайшим светом, какого я никогда не встречал в городе, замигали полосы из всех возможных цветов, и коридор, оставаясь таким же узким за нашими спинами, вдруг раздвинулся, и стены повернулись под острым углом вправо и влево, расширяя нам горизонт видимости; мы замерли где стояли, не в силах выдавить из себя ни звука. А я могу поклясться и теперь, что видел впереди себя лишь бесконечную кишку коридора, пока не вспыхнули стены и яркие полосы, побежавшие по ним, буквально не вскричали нам буйством своих красок, сумасшедшей сочностью цветов: «Вперед! Башня встречает вас!» Но, стоя там, пытаясь въехать в новую реальность, я пригляделся и понял: по стенам бегут стрелочки – разноцветные, похожие на кавычки, веселые, аляповатые. Бегут от нас куда-то вперед, в неизвестность первого уровня Башни, открытого нам, – бегут, приглашая бежать и нас. Но все же в этих стрелочках, полосках и цветах не было чуда, подумал я, глядя на них. И не было чуда в стенах – нет, они не раздвинулись, не сменили вдруг резко свой угол; простейший фокус с освещением родил эту иллюзию в наших головах. Она была красивой, но не была чудесной.

А ведь я отправлялся в Башню за чудом. И, оторвав взгляд от стрелок и стен, впервые подумал, вздрогнув всем телом: там, впереди – оно.

Моим глазам открылся мир. Два широких, казавшихся бесконечными проспекта отходили от нас в две разные стороны, и по ним шли люди – огромное количество людей. Кто-то спешил, сворачивая с одного проспекта на другой, совсем не замечая нашу странную компанию, другие же, напротив, не спеша прогуливались. Только увидев, какое вокруг кишит люд-

ское море, я осознал, насколько же здесь шумно. Тишина в моих ушах словно лопнула, как разбитая склянка, – такое случалось в моем севастопольском доме, мама, помню, долго заунывно ругалась – и шум, хлынувший в мое сознание, заполонил собой все. Я никогда не слышал столько шума в городе.

Когда ты о чем-то знал, но никогда не видел этого в реальности, и вдруг наконец оно явилось тебе – это легко объяснить. Но я уже пожил, я видел весь Севастополь, весь мир, и у меня не было слов, чтобы охватить ими то, что мне открылось в Башне. Это был мир, умещавшийся на уровне в здании, и ему было проще уместиться здесь, чем пониманию того, как же такое возможно, – в моей голове. Я хлопал глазами, как Евпатория, когда глядится в зеркало. Не мог поверить, что все это происходит со мной.

– Где это мы? – присвистнул Инкерман.

– Кажется, первый уровень Башни, – мрачно сказала Керчь. – Только первый. А я уже не хочу туда.

Мы посмотрели на нее с удивлением. Конечно, мы все хотели туда, и, может быть, я больше всех. Мне хотелось нырнуть с головой в этот омут, плыть, разгребая руками воды, всматриваться в дивный мир и его обитателей. Я поднял голову, и она тут же закружилась – сразу над проспектами, на которые мы попадали из коридора, кажется, были еще... И еще! И еще!!! Широкоморское шоссе в сравнении с ними казалось тоненькой ниточкой, высыхающим ручейком. Это были мощь, размах! Сколько же их здесь? Я стоял и считал, пораженный.

На всех проспектах выше нас стояли заграждения – видимо, чтобы люди не падали вниз, а это, казалось мне, проще простого: от таких просторов, открывавшихся взгляду, могло стать дурно, как от чистого кислорода. Ошалев, я и сам полетел бы вниз, находишь парой проспектов выше – ведь они были лишь узенькими дорожками вдоль высоченных стен, посередине же высились сверкающие прозрачные фигуры, изображавшие деревья, каких я никогда не встречал в реальности, диковинных живых существ, о которых не слышал даже в легендах, пересказанных хмурой Керчью. Да чего там только не было! В вышине вспыхивали и гасли огненные шары, окрашенные во все возможные оттенки, и внутри каких-то я успевал разглядеть слова и рисунки. Пролетали большие тряпичные ромбы, похожие на воздушных змеев; мы запускали таких на пустыре возле Башни, наивно надеясь, что если не мы – так они долетят, прикоснутся к тайне. Теперь же мы сами находились внутри тайны.

Но больше всего меня поразило другое. Автомобили! Я видел перед собой – а вернее, над собой – больше машин, чем встречал за всю жизнь. И все они летали, если, конечно, так можно было сказать, ведь я не видел летающих машин и не знал, что такое может быть. По крайней мере, они перемещались по воздуху так же свободно, как я по знакомым дорогам Севастополя, и совсем не мешали друг другу.

– Они что, летают на машинах? – откликнулся Инкерман. Похоже, наши с ним мысли совпадали.

– Это упрощает нам задачу, – предположил я. – Смотрите, сколько этажей! Если мы будем ездить от одного к другому на социальных лифтах, то вряд ли протянем долго!

– Интересно, куда здесь девают тела? – хмуро спросила Керчь.

– Тела? – не понял я. – Какие еще тела?

– Когда мы здесь все закончимся, а это случится скоро – с вашими-то рассуждениями... Заметьте, здесь нет Правого берега.

– Керчь, перестань, – отмахнулась Евпатория. – Мы промчим по всем уровням сразу... Нужно только улыбнуться... немножко губки... вот так!

– Похоже, и вправду проще долететь, – задумчиво сказал я. – Представьте, как красиво сверху – наверное, не так, как здесь.

– Не торопись, – спокойно, но твердо прервала меня Фе. – Полететь ты успеешь. Так успеи и понять, где ты, оценить. Умей побыть там, где находишься, не торопись наверх.

- Вообще-то, – Евпатория подбоченилась, – наверх – это наша цель. У нас миссия!
- Ялта не говорила про летающие машины. – Я обернулся к Фе.

Шума вокруг становилось все больше, и в этом шуме я стал различать слова. Они мешали думать, сбивали и при этом изумляли меня. Я не мог понять, о чем говорят эти люди, проходящие мимо нас.

– Двадцать пять процентов – это в пересчете на твой инструментарий не слишком-то и длинная тоскливая полоса. Подумаешь, развеешься, зато твоя женщина станет свободнее, или считаешь, что это не стимул? – говорила молодая, с налетом легкой жилы, женщина с двумя заплетенными хвостиками так быстро, словно повторяла скороговорку. Меня изумляла ее одежда – пестрое платье с непропорциональными карманами, оголенное плечо, дикий свисток сверкающие украшения в ушах, странный бесформенный мешок, болтавшийся за плечами. У нас никто не наряжался так, да и не приходило в голову нашим людям фантазировать о том, как необычно одеться. Ну, разве что Евпатории – но не настолько же!

Рядом с ней шагала женщина, одетая, напротив, строго, но подчеркнуто хорошо – его костюм буквально блестел, я не смог бы сказать иначе. В нашем городе ходили и в костюмах, но определенно не таких – помятых, тусклых. Мой папа, сколько помню себя, владел лишь одним. Он надевал его в Праздество Сверхъясного небосмотра. Это такое природное чудо, каких в нашем мире было раз-два и обчелся, – оно наступало всегда внезапно, люди оставляли дела, радовались... Яркое небо считалось предвестником счастливых перемен, но все, кто уже хоть немного пожил, никаких перемен не ждали. Да и в глубине души совсем не хотели их.

Но я отвлекся.

– Откуда знаешь? – говорил мужчина. Он был идеально красив: выбрит, прилизанные волосы, сверкающие золотистой оправой очки. В руках – компактный черный портфель.

– Откуда! – восклицала женщина. – Вотзетак!

Мне показалось, что я не расслышал: слово было совсем незнакомым. Да и то, о чем они говорили дальше, ничего не прояснило.

– Ну мало ли, по выделенке?

– Выделенке? А кто позаботился о моей выделенке, ты, что ли? – В голосе женщины я услышал насмешку. Она остановилась, но мужчина продолжил идти и даже не обернулся. Я стал раздумывать, о чем говорили странные люди, но мои догадки перебил другой голос – грубый, гнусавый:

– Ну, я с теми согласовывал, с теми людьми, которые на передовых позициях уровня...

И сразу же в мои несчастные уши ворвались десятки новых голосов, говоривших кто о том же, кто о чем-то другом, но похожем. От них захотелось закрыться, спрятаться, но я понял, что нужно адаптироваться к непрекращающемуся людскому шуму и сделать это как можно скорее. В голосе мужчины сквозило недовольство и, казалось, разочарование.

– Слушай, ну ты это... Завязывай! Я и так с угрозой только разобрался. – Он махнул рукой, но в самый последний момент все-таки подобрал слова: – И тут на тебе! Белую линию ей! Здесь от нашего села пара углов, куда тебе эта линия! Дай хоть в холле оттянись немного!

Для меня это был просто взрыв! В моем городе не было ни таких слов, ни таких интонаций, ни таких людей. Меня настораживали их интонации, жесты, манеры. Я был уверен, что здесь на любом уровне люди счастливы – уже от одного того, что они в Башне. Да и не о том ли говорила нам Ялта, не о том ли было видео, которое мы смотрели? Но те, кого я видел, не слишком походили на счастливых, а еще меньше – на тех, кто мог бы построить все это счастье сам.

В тот момент, помню, раздался оглушительный свист, и я испугался, подумав, что прямо на нашу компанию падает один из тех летящих автомобилей. Но штука, которую я увидел, была еще удивительней. Рядом со мной стрелой пронесся человек, и сперва я подумал, что он просто пробежал, но догадка оказалась нелепой: он вообще не делал никаких движений и тем

не менее стремительно перемещался в пространстве. Почти что сразу я потерял его из виду, но перед этим успел заметить в ногах человека странный предмет. Это было колесо – а можно сказать, и просто круг. Обычный непримечательный круг белого цвета и два горизонтальных выступа для ног – на них и стоял человек.

– Как эта штука едет? – воскликнул я и поймал на себе удивленные взгляды прохожих.

Понять принцип движения белого колеса было совсем невозможно: оно ехало будто само по себе, подчиняясь непонятному импульсу, который заставлял его крутиться. Ведь сам человек не крутил никаких педалей – он просто стоял. Ни за что не держась, ни на что не опираясь!

– До чего дошли в Башне, – сказала Керчь. – Колесо уже изобрели!

– Избранные, – пожала плечами Евпатория.

– Не нужно делать из всего посмешище, – вступила в разговор Фе. Я, кажется, забывал, как звучит ее голос: попав в Башню, она сделалась серьезной и молчаливой. – Вы совсем не знаете, кто здесь живет. И что здесь творится.

– Не знаете? – переспросила Евпатория. – Ты, что ли, знаешь?

– Давайте-ка вспомним, зачем мы здесь. – Фе гнула свою линию.

– Я здесь, чтобы развлекаться, – бросила Евпатория.

За этими разговорами, мыслями о людях Башни и устройстве колеса я и не заметил, что мы уже всю идем, а не стоим в конце коридора. Справа от нас была сплошная зеркальная стена, иногда в ней появлялись проемы для входа и выхода людей – они были завешены плотной черной тканью. Возле проемов на уровне глаз висели фонарики, они источали мягкий зеленый свет. Когда из проема выходил человек, я старался заглянуть внутрь, но так и не мог понять, что же там происходит.

– Посмотрите на эти уровни, – сказал Инкерман. – Похоже, они не блещут разнообразием.

Мой друг оказался прав. Достаточно было поднять голову, чтобы увидеть – все обозримые уровни были такими же точно, как наш: длинная зеркальная стена с проемами, проспект, люди, идущие вдоль стены.

– И ради этого стоит кататься на социальном лифте? – вопрос Инкермана повис в воздухе, никто даже не собирался на него отвечать. Никто, кроме Фе.

– Боюсь, все не так просто, – сказала она. – Хотя бы вспомните, какой высоты Башня!

– От земли до неба, – не задумываясь сказал я.

– Так подойди к краю проспекта и взгляни наверх.

Проспект был огражден от остальной территории невысоким, с половину человеческого роста, прозрачным ограждением. За ним росли деревья, стояли довольно высокие скалы, по которым стекала вода. Но впереди вырисовывались очертания крупных помещений – возможно, там было то же, что и напротив, в проемах за зеркальной стеной. Но меня интересовал потолок. Или то, что в этих масштабах можно было назвать потолком. Нас всех интересовало, где заканчивается уровень.

– Там слишком много всего летает, – простодушно сказал Инкерман. – И блещит.

– Вижу, – твердо ответил я.

Это так и было. Я не смог бы посчитать этажи, элементарно сбившись. Наверху они становились едва различимы, превратившись в темные полосы. Но тем не менее они заканчивались. Там, в вышине, я видел что-то похожее на небо, только странного цвета: темно-оранжевого, больше похожего на коричневый. Мне даже казалось, что оно настоящее и на нем, как и у нас в Севастополе, неподвижно висят облака.

– Это не уровни, – Фе произнесла вслух мысль, которая уже родилась в моей голове. – Это все – один уровень. Все эти этажи.

– А машинки? – рассмеялся Инкерман. – Посмотрите, как они летают?

– Только вдоль, – кивнул я. – Похоже, я понимаю... Они передвигаются только по этажу.

– Ага, и совсем на твою не похожи!

- Моя вообще не летает, – пожал плечами я.
- Ой, нет, – вставила Евпатория. – По городу-то только так летала!
- Тоже, как ни крути, уровень, – улыбнулась Фе. – Можно сказать, нулевой.
- Выходит, они только соединяют проспекты, – протянул разочарованно Инкерман. – Чтобы пешком не обходить по всему периметру.
- Ага, – кивнул я. – Или не объезжать на колесах.
- Смотрите! – истошно крикнула Керчь. Мне не доводилось слышать от нее не то что крика – повышенного голоса. Да что там, я вообще не слышал от нее таких живых, ярких, изумленных эмоций, словно она впервые раскрыла глаза и увидела мир. Впрочем, отчасти оно так и было.
- Корабль! – вскрикнули вслед за Керчью, кажется, и все мы.

Электроморе

И вправду, то, что я принял за очертание гигантского дома в центральной зоне уровня, похоже, было настоящим кораблем. Корабли я видел только на картинках. Они были у нас в городе задолго до моего появления, но потом стали строить более удобные лодки; до нашей секретной транспортировки в Башню я был уверен, что лодки нужны севастопольцам лишь для развлечения: покачаться на волнах, пройти пару раз возвратную линию, да снова домой, выращивать овощи и цветы. Куда нам плыть на кораблях? На Левом море слишком мало места, на Правом... кому на Правом нужны корабли? Но кому они нужны здесь, в Башне? Это был интересный вопрос. Неужели внутри здания, пусть и такого гигантского, есть собственное море? Это казалось уже слишком.

– Мы должны посмотреть! – сказала Керчь. – Это же корабль, настоящий корабль!

– А это? – Инкерман показал на проход в зеркальной стене. – Да и вообще, у нас миссия – нужно искать лампы.

– Нас никто не торопит, – решил я. – Пойдем смотреть корабль.

Мое слово в компании часто оказывалось решающим. Бывало, что после него еще спорили, но поступали в итоге так, как говорил я. Это были мои друзья, и я любил их, но принимать решения часто приходилось мне – не знаю, почему уж так сложилось, неопределенность была нормой нашей жизни. Но, возможно, по этой причине я и нравился Фе с Евпаторией. Корабль был огромным, и казалось, что он совсем рядом, но идти до него пришлось прилично. Я помню, мы мало говорили друг с другом, все происходившее казалось чем-то вроде сна. Каждый хотел захватить побольше новой реальности, пропустить ее через себя, надышаться ею. Шум в голове стих: я довольно быстро адаптировался к масштабам уровня и толпам людей вокруг.

Я рассматривал их, не скрывая удивления – здесь редко можно было встретить похожих друг на друга людей. Не все были одеты пестро, не все выглядели красавцами и красавицами, и, конечно, не все привлекали внимание громким голосом или странным поведением. Но все они были необычны – каждый по-своему, порой я даже не мог объяснить чем, просто понимал: в городе я никогда бы не встретил такого человека. словно та жизнь и эта исключали друг друга, не могли пересечься ни в чем, даже в самой малости: я не видел Севастополя в лицах этих людей, в их глазах. То и дело проносились белоколесники, как я назвал их про себя. Они отражались в зеркальной стене и тут же исчезали из поля зрения; при этом проносились в обе стороны, но никогда не сталкивались друг с другом – на такой скорости столкновение могло привести к печальным последствиям. Присмотревшись, я заметил, что для их движения вдоль всей зеркальной стены очерчена довольно жирная и яркая белая дорожка. Еще одна, тоньше и тусклее, разделяла направления сторон.

– Ты бы прокатился на этой штуке? – спросил я у Инкермана.

– О, я бы прокатился здесь на твоём авто! Представь, как было бы круто! Не дорога – мечта! Круче Широкоморки... Вж-ж, вж-ж-ж! – Он принялся изображать звук машины, ревящей на высокой скорости.

– Ага, – вяло отозвался я. – Мечтай! Здесь и пешком-то не протолкнешься.

Разглядывая людей, я понял, что большинство из них расслаблены – нервная пара, встретившаяся мне первой, оказалась здесь скорее исключением. Не все слова были мне понятны, но в основном все эти люди обсуждали то, как перемещались или планировали переместиться между разными проходами в зеркальной стене. Похоже, что это было их главным, а может, и единственным занятием.

– Простите, простите, – услышал я рядом с собой. – Совсем не смотрит, куда идет.

– Ничего, – улыбнулась Фе. Я увидел, как она гладит по голове совсем маленькую девочку. На нас смотрела женщина в синем платье с изображением большого, во всю грудь и живот, цветка.

– Еще раз простите, – повторила женщина, схватила девочку и растворилась в людском потоке.

– Да что вы, ничего, – продолжала Фе, не замечая, что говорит это уже мне, а не исчезнувшей женщине.

– Ты заметила, как много здесь маленьких людей? – спросил я.

– В городе каждый думает, – встрял Инкерман, – как решиться на столь ответственный шаг – заделать. А здесь, похоже, не парятся.

Инкерман говорил правду: в городе немного сторонились маленьких людей, спеша отдать их в ласпи. От них еще было сложно ждать помощи по хозяйству, они в основном бегали по дворам, норовили топтать цветы, а при небосмотрах могли кричать или смеяться, что было особенно неприятно. А в ласпах за ними следили пережившие, показывали им картинки, рассказывали, как устроен мир, не упоминая, правда, Башни, – в общем, все были при деле. Правда, могли случиться и неприятности в виде очередей или нехватки мест – вот и сиди с ними потом! – но таковы издержки нашего уклада. Стало даже интересно, а как могли выглядеть ласпи в Башне? Или у местных недалеких не было в них нужды?

– Это прекрасно, маленькие люди, – пожала плечами Фе. Она, похоже, никак не могла отойти от встречи с девочкой. Другое дело – Керчь, замкнутая, она всегда сторонилась маленьких. Так случилось и в тот раз.

– Большие корабли прекраснее, – звучно сказала она и добавила: – Чем любые люди.

Мы наконец подошли к кораблю и уставились, завороженные, через толстое стекло: гигантская машина возвышалась над несколькими этажами уровня; все, что могли увидеть мы оттуда, где стояли, – металлический, выкрашенный красным борт. Гигантский корабль раскачивался, но упасть – да и вообще, пожалуй, сдвинуться со своего места – ему бы не дали огромные буи, к которым тянулись толстые канаты. Помимо них, корабль был крепко привязан к специальным огромным столбам, выставленным вдоль проспектов. Похоже, другой функции, кроме поддержки корабля, у столбов не было.

– Ты его так себе представляла? – спросил я у Керчи.

Как мы ни вытягивали шеи, ни прижимались к толстому стеклу, увидеть что-то еще, кроме высоченного борта, не получалось.

– Мы ничего не увидим отсюда, – произнесла она. – Нужно узнать, как подняться наверх.

– Интересно, там есть кто-нибудь? – задумалась Феодосия.

– Не вижу трапов, – честно ответил я и снова повернулся к Керчи. – Трапов? Так ведь говорилось в книгах?

– А зачем там кому-то быть? – удивился Инкерман. – Здесь куда-то можно уплыть, что ли?

– Значит, мы будем первыми, – твердо сказала Керчь.

– Ага, – тут же недовольно отреагировала Евпатория. – Вот и плыви отсюда. А я хочу узнать, что там, за зеркалами. Немедленно. – Она капризно топнула ногой. – Я хочу, как эти люди. Что мы, хуже их? Им вообще плевать на корабль, ну стоит и стоит...

– Стойте, – прервала Фе. – Электроморе!

– Что «электроморе»? – Мы непонимающе уставились на нее.

– Корабль в воде, если вы не заметили.

Она была права: мы, конечно, заметили – корабль покачивался на волнах, правда, откуда здесь могли взяться волны, я совершенно не понимал. Видимо, какое-то устройство создавало их искусственно – здесь вообще было много имитации. Разлитая вода имитировала море, спрятанные механизмы гнали к кораблю волны, но это не было ни морем, ни волнами.

Да и сам корабль – был ли он кораблем? Книги, с которыми были так трепетны наши пожившие, описывали бывшие корабли – те, что существовали в ветхости, те, что шли по реальным волнам настоящего моря. Книги хранили память о них, воссоздавали детали того, что было, и, разглядывая их, мы все представляли настоящий корабль. Но здесь все было иначе – пытаюсь рассмотреть корабль, наблюдая за равномерными волнами, буями и канатами, слушая, как скрипит, качаясь, эта странная конструкция, я представлял книгу.

Кто-то воссоздал здесь картинку, сделав ее трехмерной, но не оживив. Со всей ясностью я вдруг понял: перед нами все что угодно, но не настоящий корабль. Но решил промолчать – моя догадка, что и говорить, пугала, она рождала мрачные предположения: а вдруг и все остальное, что мы наблюдали вокруг себя, тоже ненастоящее? И люди, главное – люди. Я потряс головой, как будто желая стряхнуть мысль. И увидел прямо перед собой настороженное лицо Фе.

– Эй, ты еще с нами? – спросила она.

– Конечно, – растерянно сказал я и вдруг вспомнил: *электроморе*. – Но, Фе, ты видишь где-то электричество?

– Нельзя исключать, что это море – просто картинка. – До Керчи, кажется, тоже стал доходить смысл происходящего. – По крайней мере, пока я не удостоверюсь в обратном, буду считать так.

– А если картинка, тогда это море – какое? – продолжала Фе. – Электрическое. И это значит, где-то здесь мы должны получить лампы.

– Если ты считаешь, что нам должны выдать лампы на корабле, – покажи проход, – сказал я, придав голосу напускной беззаботности.

– Не на корабле, – произнесла Фе тоном строгой пожившей женщины и смирла меня не самым приятным взглядом. Кто знает, может, и я иногда говорил глупости? – Корабль может быть подсказкой, что это где-то рядом.

– Фе, послушай, – рассмеялся я. – Здесь все рядом с этим кораблем. Он огромный.

– По сравнению с Башней он такой же огромный, как и ты, – огрызнулась Феодосия. – Ребят, поймите одно. Мы не должны расходиться, пока не получим лампы. Кто хочет корабль, кто хочет Зазеркалье – все потом. Представьте, что мы потеряемся и не сможем друг другу помочь.

– С чего ты вообще взяла, что нам нужны эти лампы? – взорвалась Евпатория. – Если я вообще не пойду за лампой? Что тогда?

– Ты останешься здесь, – спокойно ответила Фе. – И не сможешь заселиться.

Помню, мы все удивленно посмотрели на нее. А я спросил:

– Откуда ты знаешь?

– Это логично. – Фе снова осуждающе взглянула на меня. – Без ламп нас здесь нет. Зачем бы Ялта делала уточнение? Мы можем решать, оставаться здесь или нет, но только обладая лампами.

– Нет, – прервал я. – Откуда ты знаешь, что здесь можно заселиться?

– Послушайте, – встряла Керчь. – Фе, в отличие от вас всех, думает. Или вы полагали, что эта способность здесь не пригодится?

– Не от вас, а от нас всех, – возмутился Инкерман. – Или ты тоже знала, что здесь надо где-то заселяться?

– А как ты думал? Ляжешь спать прямо на проспекте?

– Не знаю, – пожал плечами мой друг. – Но, может быть, здесь не спят вовсе?

– Да и не думают, – добавила Евпатория. – Что-то я не вижу, чтобы все эти люди вокруг ходили и о *чем-то думали*!

Но Феодосия будто не слышала, продолжала:

– Электроморе – это просто слово. Оно означает то место, где мы должны получить лампы. Представьте себе, что оно настоящее. Вряд ли проводница Башни отправила бы нас на верную погибель?

– Интересно, – вставил Инкерман. – Оно было бы электро-Левое? Или электро-Правое?

Мы все беззаботно рассмеялись, но Фе оставалась серьезной; она лишь смотрела на нас как на несмышленишек.

– Я думаю, мы на месте, – наконец сказала она. – И наше плавание начинается здесь.

Сказав это, она развернулась и твердым шагом направилась к зеркальной стене. Мы не успели опомниться от услышанного, как она скрылась в ближайшем проеме. Там, где только что была Фе, я видел лишь черную ткань и маленький зеленый огонек. В обе стороны ходили люди, говорили о чем-то своем, и мне вдруг стало не по себе. Ведь это я должен был принимать решение! Уверена ли она в том, что делает? И почему? Фе поступила странно, загадочно, хотя и, если вдуматься, логично. Но уверена ли она в том, что сделала? Не случится ли с ней чего? Я тревожно взглянул на Инкермана, и он прочел мои мысли.

– Надо идти, – сказал он и протянул руку Евпатории: – Пойдем в Зазеркалье, детка.

Но она лишь презрительно скривилась и фыркнула. Керчь, не обращая на нас внимания, пошла к проему, и тогда уже все мы поняли: тянуть больше некуда. В конце концов, мы уже в Башне. Что могло случиться в наших жизнях удивительней, чем это?

Осмотревшись по сторонам, не мчит ли кто на странном колесе, мы друг за другом ныряли в неизвестность – за черную ткань.

– Уважаемые, любезные, – услышал я, как только шум проспекта стих, и я сделал первые, еще неосознанные шаги на новой территории, – добро пожаловать, мы вас уже ждали. Меня зовут Луч, рад знакомству!

– Луч? – переспросили мы пораженно.

– Луч, – подтвердил он и улыбнулся, мол, о чем тут говорить – Луч как Луч.

«Может, здесь дают имена, как-то связанные с занятием? – подумал я. – Стоило подбирать себе что-нибудь благородное».

Я увидел перед собой низкого, но коренастого человека в белом пиджаке с длинными черными полосами. Его огромные усы были закручены с обеих сторон, благодаря чему он напомнил мне таракана, и, не в силах сдержать себя, я рассмеялся. Дополняли образ выющиеся густые волосы, разделенные пробором ровно посередине головы, и круглые очки. Одна из линз была, похоже, треснувшей, но человека это нисколько не смущало.

– Кроме вас здесь есть еще кто-то? – до меня донеслась недовольная реплика Керчи. О, она не упускала возможности кого-то уколоть. Но человек в полосатом пиджаке не растерялся.

– Кроме меня здесь вся огромная Башня, которой я имею честь быть представителем, – с достоинством сказал он. – Вам должно быть известно, как ждут здесь новых избранных.

– Что-то я не заметил, – вступил в разговор Инкерман. Он вращал в руках маленький предмет, я не мог понять, что это такое. Наконец он подбросил его в воздух и ловко поймал, и только тогда меня осенило: лампа! Да это же лампа! Самая настоящая, правда, удивительная, каких я не встречал: идеально круглая, без патрона, просто шар из стекла – однако с нитью накаливания внутри. Перед Инкерманом стояла странная конструкция – прямоугольная полка, расположенная на вырастающей из самого пола тонкой металлической ножке. На полке лежало нечто, похожее на белую подушку, но от нее почему-то поднимался пар. Инкерман положил лампу прямо в центр этой конструкции. И только после того, как он это сделал, я сумел перевести взгляд и увидел, насколько огромным был зал, где мы находились. И вокруг нас были сотни, если не тысячи ламп! Они свисали с потолка, лежали на полу, окруженные символическим ограждением или спрятанные в стеклянных кубах, лежали на длинных продолговатых рядах, торчали из стен и колонн, а некоторые буквально висели в воздухе, подвешенные на

невидимых нитях. В первый миг я потерял дар речи. Но Инкерман быстро освоился. Он продолжал донимать человека с усами:

– Так что же, – говорил он, – я пропустил чью-то радость по поводу нашего прибытия?

Луч подошел к тому месту, куда Инкерман только что положил лампу, взял ее в руки и бережно протер белой тканью, а затем несколько раз подул на шар.

– Будьте осторожней с будущим, – сказал он назидательно. – Да и вообще, будьте осторожны. Видите ли, не стоит ждать чего-то от тех, кого вы встретили на этом уровне. Кто живет здесь. Ждите от самой Башни, как и она сама вас ждала.

– Они вообще настоящие? – прервал я их разговор, в котором не видел никакого смысла. Зато кое-что другое показалось мне чрезвычайно важным, заслуживающим немедленного объяснения.

– Любезнейший вы наш, признайтесь, что побудило вас задать этот вопрос? – Усатый расплылся в улыбке.

– Электроморе, – ответила за меня Фе, и я наконец заметил ее, хотя девушка была рядом, в каких-то двух шагах.

– Она права. – Я тут же уцепился за ее слова. – Электроморе. Это ведь вы? Вы называетесь Электроморе, хотя никакого моря здесь нет, да и насчет электро- есть кое-какие сомнения. Вход к вам, которого тоже как такового нет, потому что нельзя считать входом проем, завешенный черной тряпкой, расположен напротив моря, которое, в отличие от всего остального, якобы есть. Но это совсем не море – потому что я знаю море, помню его запах, чувствую кожей и слышу его. Я пришел из Севастополя – и море во мне, а я – в море. Я вообще не увидел здесь ничего настоящего! Но корабль, корабль, который там, – это просто что-то ужасное.

Луч кивал и внимательно слушал.

– Он там стоит, – продолжал я в запале, – словно вопреки самому себе, вопреки морю, да и вообще... вопреки самому устройству жизни!

Поняв, что я закончил, человек в пиджаке учтиво поклонился – настолько нелепо, что я усмехнулся, и это не скрылось от его взгляда. Наконец он заговорил:

– Корабль – это объект скорее декоративный. Пожалуй, так.

– Он стоит здесь в память о чем-то? – поинтересовалась Керчь.

– Нет, – покачал головой Луч. – Он не несет функциональной нагрузки. Корабль – лишь часть экспозиции, в которой он даже не является смысловым ядром. Если вы пройдете...

– Нет, подождите, – прервал его я. Услышанное поразило меня до глубины души, хотя нам и объясняли пожившие, что никакой души нет. – То есть гигантский корабль в несколько этажей поставили здесь просто так, чтобы был?

– Ну да. – Усатый обрадовался моей догадливости. – Обыкновенный декор. Любезные, я вам больше скажу – здесь не один такой корабль, и он даже не самый крупный. В центре нашего уровня больше развлечений, чем вы можете представить. И это если не считать Майнд Дамна, правда, этот проект не совсем наш...

– Что вы сказали? Дауна?

– А, не забивайте голову ерундой, – махнул рукой Луч. – Придет пора, и вам объяснят. Возможно.

– У вас в магазине тысячи ламп, – прервал я. – Но ни одна из них не горит. Почему?

Мои друзья отвлеклись от разглядывания магазина и повернулись к нам – похоже, этот вопрос заботил их тоже.

– Видите ли, – начал человек в пиджаке, – эти лампы нельзя назвать искусственными в прямом смысле этого слова. Как искусственен корабль или тот же непонятный для вас Дамн. Искусственность – это имитация, подделка, словно воспроизведение чего-то по картинке, чертежу. Ведь вам знакомо это чувство?

Его слова вызвали во мне раздражение.

– Не делайте вид, что раскусили меня, – скривился я. – Ваше Электроморе специально находится напротив корабля, чтобы каждый заходил к вам уже готовенький, с этим знакомым чувством.

Человек в пиджаке внимательно посмотрел на меня, но не выдал эмоций. А может, и не испытал их. Тем лучше, подумал я.

– Не думайте и вы, что первым оценили этот замысел, – обратился он ко мне. – Это дань традиции, ее задача – не удивлять, а настраивать на нужный лад. Я слышал эти слова не единожды, что говорит лишь об одном: у нас с вами нормальный рабочий контакт. Так что позвольте продолжить?

– Мы и не собирались вам мешать, – зачем-то встряла Фе.

– Но и настоящими в прямом смысле слова лампы, конечно, не являются, – сказал усатый, взяв в руки одну из них – с виду обыкновенную продолговатую лампу, каких я множество видел в Севастополе. – Настоящей лампу делает тот, кто ее выбирает.

– Надо найти свою лампу, – предположил Инкерман, заметно повеселев: игры увлекали его. Однако друг не знал, что его ждало маленькое, но все же разочарование.

– И тогда нужная лампа загорится прямо в руках, как глаза Инкермана? – спросил я усатого. Но хранитель ламп рассмеялся:

– Склонность все романтизировать свойственна людям, в чьих жизнях мало романтики. Вы разве видели, чтобы обычная лампочка – и вдруг зажглась в руке?

– Нет, – разочарованно пробурчал Инкерман. – Но ведь это Башня! Это же не совсем обычно? – Он не терял надежды.

– Лампа зажжется тогда, когда получит питание.

– Когда мы выполним миссию? – спросил я.

– Верно, уважаемый. – Луч снова изобразил что-то вроде поклона. – Вы увидите свет лампы, когда донесете ее наверх. – Он поднял палец и недолго помолчал, застыв в комичной позе. – Прошу приступить к выбору.

Едва я открыл рот, чтобы спросить еще что-то про лампы, как в тишине большого зала раздался радостный визг:

– А я уже все, уже все! Такая красивая, замечательная, никогда такой не видела! Беру, беру, беру! Заверните.

Мы все увидели Тори, о которой совсем забыли, разговаривая с хранителем ламп. На ее лице было счастье – так счастливы бывают только девушки, заполучившие красивую игрушку.

– Прекрасная леди, продемонстрируйте нам, что вы выбрали из всего многообразия.

Евпатория протянула руки – и мы увидели то, что лежало на ее ладонях. Это была небольшая лампочка, похожая на самую обыкновенную, какие вкручивают, чтобы освещать, например, письменный стол. У нее был патрон – тоже, как показалось, вполне обычный. Но вот стеклянная часть лампы раздваивалась, изображая подобие сердца, каким его рисуют влюбленные и просто мечтательные девушки. Лампа казалась красной, но, присмотревшись, я понял, что она не то чтобы выкрашена в этот цвет, а словно присыпана крошкой – и не сказать чтобы щедро.

– Неплохо, – присвистнул Инкерман. – Настоящее сердце! Смотри-ка, нашла! А знаешь, я готов подарить тебе еще...

– Смотрится и вправду мило. – Я решил высказаться, чтобы прервать нелепые подкаты Инкермана. Мне было неловко слушать их, но еще большую неловкость я почему-то испытал от выбора, который сделала Тори. И не потому, что красивое сердце казалось мне глупостью, нет, лампа смотрелась действительно мило. Но было и другое чувство, которое мешало мне порадоваться за подругу и о котором я решил умолчать.

Наверное, эта лампочка способна удивить – ей просто не хватало света, в котором сердце засияло бы, воспрянуло, как после длительного и беспамятного сна, в котором обрело бы жизнь. Но я не питал иллюзий. Я знал: в руках Евпатории этой лампе не загореться.

Но Тори была и вправду прекрасна в своем простом и неподдельном счастье.

– Давайте же поаплодируем, – предложил хранитель ламп и первым ударил в ладоши.

Мне было странно аплодировать и видеть, как натужно это делает Керчь, не понимая, зачем это все, да и Фе не особо старалась, лишь хлопнула пару раз. Но Луч не унимался:

– Дорогие мои, бесценные! Выбор лампы – это празднество, это событие. Поверьте, вас ждет множество эмоций в нашей Башне, но то, что происходит здесь, вы будете вспоминать всю жизнь. Это и станет вами. Аплодируйте же! Аплодируйте себе и своему выбору! Как вас зовут, девушка?

– Евпатория, – воскликнула наша счастливица.

– Я поздравляю вас, Евпатория! – Усатый подался вперед и поцеловал девушке руку. – А пока я запакую лампу Евпатории в эту белую ткань, прошу и вас, драгоценные мои, определиться с выбором!

Я был счастлив уединиться – пока усатый занялся работой, мы, остальные, разбрелись по аллеям зала. Как-то само собой получилось, что мы не захотели советоваться, сравнивать лампы – в общем, помогать друг другу с выбором. Напротив, едва я остался один, как тут же забыл о друзьях и впал в странный транс, пытаясь выбрать... даже не так – увидеть свою лампу. Но меня не поражали ни диковинные формы, ни огромные или, напротив, миниатюрные размеры, ни цвета, ни материалы, из которых лампа выполнена, – а я встретил здесь и дерево, и пластик, и бумагу, и даже тряпичные лампы; совершенно непонятно, как такие могли зажечься! Но даже не по этому критерию я выбирал. Новая ли? Не сломанная? Отчего-то мне казалось это неважным, а что было важным – я не знал.

Здесь было полно просто лампочек – самых обычных, как в городе, что я видел в простой жизни, за которыми порой ходил в соседнюю комнату для мамы и папы. Но разве они мне были нужны? Нет, я совсем не сторонился простоты, мне не хотелось глупой вычурности, баловства, иными словами, самоутверждаться через лампу в мои планы вовсе не входило. Но, проходя мимо длинных рядов этих самых обычных домашних лампочек, я понимал, что мой путь вполне мог оказаться дольше, чем они способны выдержать: не сломаться, не потеряться, не треснуть и разбиться, наконец... Мне хотелось дойти на вершину с лампой, а иначе зачем я здесь?

Помню, подумал: «Вот бы мне такую, как на маяке. Как у смотрителя». Возле такой лампы можно быть тем, кто не прерываясь смотрит на Мир через линию возврата. И видит его как на ладони, все потаенное, все скрытое, все спрятанное. Кто знает о Мире все, но хранит это знание в тайне и тем самым хранит сам Мир.

И тогда я принялся рыскать глазами вокруг, нет ли здесь чего похожего, но вскоре осадил себя: ну, лампа смотрителя – подумаешь, блажь. Такая же романтическая глупость, как стеклянное сердечко Евпатории, припорошенное красной крошкой. Что я знал о смотрителе? Ничего. О его лампе? Был ли свет маяка вообще лампой? Был ли смотритель реальным человеком? Был ли он вообще?

Голос Инкермана помог мне забыть о смотрителе насовсем.

– Фиолент? – Он позвал меня, возникнув словно из небытия. Я вздрогнул. В руках друга был белый сверток, и он разворачивал его, чтобы показать мне.

– Мы все уже выбрали, – сказала Керчь со свойственной ей прямоотой. – Конечно, понимаю, лампа – дело личное. Но лично мне здесь надоело.

Я понял, что потерялся: погрузившись в свои мысли, бродил между рядов, но даже не разглядывал лампы. Ничего не удалось подобрать, я просто не знал, что мне нужно.

– Ну как? – довольно спросил Инкерман.

В его руках была длинная витиеватая лампа густого белого цвета, похожая на застывшую пасту, которую выдавили из тюбика. Или мороженое в рожке. Лишь кверху лампа почему-то изгибалась, делая странный оборот и «вливаясь» в саму себя. Странный выбор Инкермана удивил меня, но не вызвал восторга.

Зато, увидев то, что держала в руке Керчь, я даже поперхнулся от изумления. Ее лампа была тонкая, как ручка или указка, и длинная, размером с половину роста девушки. Но окончательно меня добил цвет: фиолетовый, притом настолько яркий, что казалось, будто лампа уже горит.

– И к чему тебе фиолетовая палка? – не выдержал я.

– Ага, и как ты собираешься таскаться с ней? – вставил Инкерман. – За что-нибудь зацепишь, и каюк.

Но Керчь не стала объяснять. Она лишь приложила указку-лампу сначала к моей шее, затем к инкерманской. Ну, или инкермановской – я никогда не понимал, как правильно.

– Вопросы есть? – подытожила она.

– А у тебя что? – поинтересовался я у Фе, но только девушка принялась разворачивать сверток, как передо мной возник Луч. Его лицо расплылось в доброжелательной, но все же слишком приторной улыбке.

– Пора и вам определяться, золотой вы наш, – пропел хранитель.

Я растерялся: из этого места нельзя было уходить ни с чем, а друзья, да и усатый, не горели желанием ждать. Но больше всего меня пугала мысль, что возьму не ту, ненужную, неправильную лампу. И я громко сказал, обращаясь ко всем:

– Вы знаете, я, кажется, понял.

Все смотрели выжидающе, а я взглянул на Фе и увидел ее уверенный теплый взгляд. Мне стало спокойно.

– Я понял, что хочу лишь одного: донести лампу. Чтобы мне не хотелось расставаться. Чтобы я не посмел ее потерять или израсходовать на глупость. Чтобы она напоминала мне, зачем я здесь. Да и вообще: *зачем я*.

Того, что скажет усатый, я ждал, но все же мне стало легче после его слов.

– Поаплодируем же нашему... как вас зовут?

– Фиолент, – отчетливо сказал я. – Меня зовут Фиолент.

– Поаплодируем же Фиоленту! А для того, кто так ответственно подходит к выбору, у нас, помимо безмерного уважения, предусмотрен сюрприз. Пойдемте же со мной! – Он протянул мне руку. – Ну, пойдемте же! Друзья вас заждались и ваша лампа. А Башня, Башня заждалась.

– Смешно он говорит, – услышал я слова Инкермана.

– Но дельно, – добавила Феодосия.

Передо мной оказалось устройство, похожее на металлический контейнер с человеческий рост, с небольшим экраном по центру. На его верхней поверхности красовались лампы – но, по всей видимости, игрушечные. Изображения разных ламп украшали и стенки этой конструкции.

– Что это? – спросил я человека в пиджаке.

– Это? Лампомат! – торжественно произнес Луч. – Устройство, которое помогает совершить выбор тем, кто не делает его самостоятельно.

Я был в замешательстве. Но друзья махали мне руками, кивали: действуй, мол. И я решился.

– Просто смотрите в экран, и все, – сказал усатый. – А я отвернусь, чтоб не смущать вас.

Всматриваясь в экран, я долго видел лишь свое отражение на гладкой поверхности. Но затем все изменилось: экран вдруг приобрел черный цвет, в котором стали прорезаться линии – как яркие лучи. Сначала прямые, затем они стали закругляться, петлять, спутываться и наконец приобрели понятные и знакомые очертания: я увидел контур лампы. Самой обычной, про-

стой лампочки, вроде тех, мимо которых прошел. Я старался не делать движений, чтобы не влиять на то, что вижу. Контуры ламп на экране становились все изящнее – и я увидел даже нечто похожее на лампу Инкермана, а потом... потом произошло что-то невообразимое. На экране возникла картинка, совсем не напоминавшая лампу. Скорее это было похоже на перевернутую куриную ножку, только она была не округлой, а оканчивалась плоской линией, да и сама была испещрена линиями тоньше, которые словно делили эту часть изображения на кирпичики. Сама «косточка» этой условной ножки имела прямую, правильную форму и была чуть длиннее. Но венчалась перевернутая кость совсем странной конструкцией. Она напоминала приоткрытый клапан, из которого вот-вот пойдет то ли огонь, то ли газ. А то и вовсе хлынет вода; кто его знает, чем можно наполнить такой сосуд, существуй он в реальности.

Разглядывая удивительный рисунок, я совсем забыл, зачем здесь находился, – а ведь, вообще-то, мне была нужна лампа. И едва я об этом вспомнил, как картинка, будто наваждение, исчезла с экрана, и он тут же поплыл вверх, скрываясь в недрах лампомата и открывая потаенную нишу. Я готовился увидеть в ней всякое, но если б успел хоть чуть-чуть поразмыслить, то догадался бы: там и была моя лампа. В точности такая, как на удивительном рисунке, но только настоящая. Это я понял о ней сразу.

Рисунок не мог передать и толики красоты этой дивной лампы. Она была из обыкновенного, правда, толстого и крепкого стекла, но сверкала и блестела, словно хрустальная.

– Тяжелая, – оценил я, когда вытащил лампу из ячейки. Потом я часто вспоминал свою простую, совсем непродуманную реакцию, и казалось странным, почему мое первое слово о лампе было таким. Я изучал ее, сживался с ней, видел в ней целый мир – новый, загадочный, но почему-то тесно связанный со мной и моей жизнью. И моим городом. Как это могло быть? Я не знал. Быть может, только слабо ощущал не только тяжесть самой лампы, но и тяжесть судьбы, тяжесть странной надежды, тяжесть предстоявшего пути... Теперь я чувствовал все это не только душой – я чувствовал эту тяжесть в руке. Но все-таки была не только тяжесть. Была надежность – то, чего я до тех пор не мог отыскать во всем этом зале, среди тысяч других ламп.

– Поздравляю вас с выбором, – услышал я голос, звучавший словно не из этого зала, а откуда-то издалека, из неведомого мне края. Но это был все тот же голос Луча, и он нарастал, становился все громче и отчетливей: – Поаплодируем же, уважаемые! Не правда ли, такая лампа восхищает? Но вы еще не знаете самого удивительного...

Я видел периферийным зрением, как вытянулись лица друзей. Но мне казалось, что само пространство изменило форму, стало плоским, как огромная картинка, готовая свернуться в трубочку. Я привыкал к реальности вокруг, как будто впервые с ней столкнулся, и только лампа оказалась реальнее всего – четкая, осязаемая, она была моим якорем в море бытия, которое вдруг заштормило. Помню, самым странным и сложным мне казалось примириться с тем, что это всего лишь лампа. Да и вообще – что это лампа, а не какой-то другой предмет. Ни одна из воображаемых мною ламп, а я считал свою фантазию хорошей, не могла иметь такую форму. Эта форма противоестественна для ламп, казалось мне. Да и чему в ней гореть, зажигаться? Голубая крошка на дне, у широкого ее основания – такой же порошок, как и у Тори в ее «сердце». Но в «сердце» было накаливание, а у моей лампы – нет.

Конечно, у моей лампы было мало общего с куриной косточкой. То, что казалось ею на рисунке, выглядело скорее как благородная колонна, выраставшая, словно мощное дерево, из скалы. Венчала колонну маленькая фигурка неведомой мне птицы, расправившей крылья. Я никогда не видел таких в Севастополе, но понимал, что это не почтовая сорока: птица выглядела красивой и сильной, настолько сильной, что могла удержать в зубах якорь. По крайней мере, такая странная фигура венчала мою лампу. Я осторожно перевернул ее, и голубая крошка посыпалась вниз, наполняя собой орла. И только потом, как шум далекого моря, до меня донеслись слова:

– Феодосия, – торжественно вещал хранитель ламп, – продемонстрируйте свой выбор всем присутствующим.

Я подошел к Феодосии и ахнул, а вместе со мной это сделали все, кто увидел, как упала белая ткань на пол, открывая лампу, которую выбрала девушка. Она была точно такой же, как моя – один в один. Но только меньше, может, в половину моей лампы.

– Вот так и в отношениях женщин и мужчин, – возбужденно продолжал Луч, чуть ли не прыгая вокруг нас. – Совет вам да любовь, глубокоуважаемые! Свет вашим лампам, счастье всей нашей Башне!

Мы с Фе ступевались, не зная, как все это понимать, что говорить и надо ли говорить вообще. Но тут вступила Керчь:

– По-вашему, женщина – лишь уменьшенная копия мужчины, лишенная к тому же наполнения? – с вызовом сказала она. – Пустой сосуд?

Я взглянул на лампу Феодосии и понял, что Керчь права: стеклянная оболочка у Фе была тоньше, лампа не сверкала, как моя, и в ней совсем не было крошки – сосуд и вправду оказался полым изнутри. Усатый улыбался и лишь пожимал плечами в ответ на нападки Керчи:

– Я, сколько помню себя, занимаюсь лампами для избранных, для вновь пришедших, даже севастополистов. Традиция предписывает мне так говорить. Хотя, признаюсь вам, прекрасная суровая красавица, такая сцена здесь происходит впервые! Я даже и не сразу вспомнил, что в этом случае в Электроморе говорят.

– Она парится, что тоже не нашла такую, – предположил Инкерман.

– Идите вы, – насупилась Керчь. Я рассмеялся, почувствовав прилив прекрасного настроения, и лишь крепче сжал свою лампу. Наверное, кто больше всех парился, так это сам Инкерман. Из-за того, что сам не нашел такого же сердца, как у Тори, – только больше и красивей. Да он и не искал.

Мы шли к выходу. Завершив свое дело, Луч умело выпроваживал гостей. Я, например, даже не заметил, как оказался возле черной ткани выхода.

– Не забудьте пройти в сопутку, – хранитель ламп снова начал говорить загадками. – Это несколько углов отсюда.

– У вас тут все считают углами? – удивилась Евпатория. – А если я не люблю углы? В моем сердечке их нет, не зря ведь!

– Да и вообще, зачем нам идти туда? Там тоже говорят про полых женщин? – все так же хмуро спросила Керчь.

– О нет. – Усатый делано закатил глаза. – Там говорят только по делу. Это у нас здесь празднество, а там обыкновенная житуха.

И Луч смешно изобразил, как смахивает со щеки слезу. Я так и не понял, о чем была его последняя фраза, но не захотел спрашивать. Фе улыбнулась мне, а я – ей.

– Как вы мне, ребята, нравитесь! – воскликнул хранитель, но тут же стал серьезным. – Да, и будьте осторожны. Наверняка вы видели возле проходов датчики?

– Что? – переспросили мы.

– Зеленые огоньки, – пояснил усатый. – Они горят, когда проход к тому залу, куда вы решите зайти, свободен. Но ни в коем случае не пытайтесь перейти мелодорожку, если заметите красный свет.

– Я ничего не понял, – развел руками Инкерман.

– Огонек на датчике может быть красного цвета. Вы разве еще не видели? – удивился Луч.

– Нет, что вы сказали до этого? Какая-то дорожка... – конкретизировала Фе.

– А, – рассмеялся хранитель. – Вы видели две полосы – с движением в одну и другую стороны?

– Ну да, возле зеркальной стены, – подтвердил я.

– Они очерчены мелом, – продолжил усатый. – Ну, мел... вы все знаете, как в ваших артеках... мел! Доска...

– Конечно, конечно, помним. – Я поторопил усатого. Артеки не лучшее воспоминание в жизни, о них тоскуют только пережившие, кто одной ногой в Правом море. Не хотелось погружаться в эти воспоминания. – Но почему мел... здесь?

Хранитель ламп пожал плечами:

– Так обозначена их территория, чтобы они беспрепятственно ехали на своем колесе. Отсюда и название – мелодорожки. Они по всему уровню.

– Вот так новости, – усмехнулся я.

– На каждом колесе есть транслятор сигнала. Датчики у входов в залы, вроде нашего Электроморя, принимают их. И когда колесист приближается – зажигается красный свет.

– Да уж. – Мне потребовалось помолчать немного, чтобы переварить информацию. – И как же эти колесисты не врезаются друг в друга? Такая скорость...

– Модели колес, или, как их еще называют, меликов, до которых дошла мысль в Башне, почти что не допускают аварий, – ответил Луч, вдруг помрачнев. – Но есть и другое. Пользователи мелодорожек – они, знаете, такие люди... Нет, ничего не скажу плохого, ведь в Башне плохих людей нет. – Он снова широко улыбнулся. – Они очень уважают друг друга и не позволяют столкновения – это удар по их репутации в этой среде: могут и отлучить от дорожки. Но вот остальных они, мягко сказать, не замечают.

– А меликам когда-нибудь бывает красный свет? – возмущенно спросила Тори.

– Никогда, – улыбнулся хранитель.

– Но как? – практически синхронно заговорили мы с Феодосией. – Ведь они определенно создают проблемы для движения других участников, без... как бы это сказать. Бесколесных.

– Все дело в том, что мы им все должны.

– Должны? Но почему? Почему бы не обустроить дорожки с другой стороны, где корабль... декор, как вы говорите. А не там, где проходы людей? Ну! Это же логично.

– Так а в чем будет их преимущество? Ведь им преимущество нужно! Они не согласны как все.

Усатый жестом дал понять, что тему пора заканчивать, да и вообще – пора уходить. Керчь первая двинулась к проходу, подняла черную ткань и взглянула на датчик. За ней пошел Инкерман. И они уже не слышали, как человек в полосатом медленно заговорил, почему-то решив продолжить:

– Видите ли, концепция мелодорожек разработана на втором уровне Башни и спущена сюда. Они там вообще, как бы это сказать... – И снова ненадолго замолчал, а затем изменился в лице, просиял, как умел это делать: – Да, лучше о чем-то приятном! Любезные мои, удачи вам...

Но я прервал хранителя, взмахнув рукой и чуть не выронив лампу. Фе придержала меня и взглянула с укоризной.

– Скажите одно, – попросил я. – А как эти колеса работают?

Мы остались вдвоем, из-за неприкрытой шторки уже слышался гул Башни. Луч приблизился к моему уху и прошептал:

– Ты сидишь, сделав все дела, возле стены дома. И смотришь в небо. Рядом с тобой сидят соседи, недалекие... И так в каждом дворе. Город отдыхает, смотрит в небо. Чувешь?

– Нет, – честно признался я.

– А мелик едет, – зашипел хранитель ламп, и меня поразило, как сильно изменился его голос: – Мелик – едет.

Никита

С тех пор я сторонился меликов и косо смотрел на дорожки. Люди, передвигавшиеся на колесах, не проявляли никакого интереса ни к нам, ни вообще к тому, что происходило вокруг. Они выглядели расслабленными, беззаботными в своих обтягивающих цветастых одеждах... Непременным атрибутом колесистов были каска и зеркальные очки. Они не снимали их, даже если останавливались возле нужного прохода и заходили внутрь, схватив под мышку свое колесо. Быть может, думал я, они не хотят встречаться глазами с другими людьми, да и сам не хотел бы заглянуть в глаза колесиста: я был уверен, что это впечатление окажется не из приятных.

Впрочем, я видел лишь пару раз, как колесист останавливался и проходил в зазеркальный зал. И, понаблюдав со стороны, заметил: спокойно и приветливо общались эти люди только друг с другом. На тех, у кого нет колеса под мышкой, они всегда смотрели тяжелым недобрым взглядом, а если и заговаривали, то вынужденно: их тяготил разговор о чем-то, кроме меликов и мелодорожек.

Зато Евпатория была восхищена колесистами, как никто из нас. Она смотрела им вслед с неподдельным восторгом, провожала взглядом, как влюбленная, – но ей было мало и этого. Она приставала ко мне, прижималась, приобнимала и шептала заговорщицки:

– Фи! Посмотри, как здесь прекрасно! Какие возможности! В городе столько пустого пространства, а никто не додумался: колесо, мел – и все! Это же счастье!

Я смотрел на нее, улыбался и совершенно не понимал, что ответить. Евпатория была очаровательна, но... Были вещи, которые ей не стоило знать, а мне – пытаться объяснить. Слова хранителя ламп о природе движения меликов вряд ли поразили бы Тори: она увлекалась формой и редко вдавалась в содержание. Впрочем, таким был и я в городе. Но здесь, в Башне, начинал понимать: что-то меняется. А Тори продолжала щебетать, пока мы шли по проспекту в поисках неведомой сопутки, вдоль гигантского корабля в искусственном море:

– Я вот только думаю: а как они перемещаются наверх, когда им нужно? Ведь если это все один уровень...

– Не знаю, – отмахнулся я. – А почему ты так уверена, что им это нужно? Посмотри на них: мне кажется, им не нужно ничего.

– Фи, ну что ты такой заунывный. – Тори надула губки. – Я хочу это знать, потому что хочу такой же. Я хочу, как они... Давай достанем такие колеса, Фи, и будем на них летать? Это же так весело!

Глаза ее горели, и я не стал говорить девушке, что влиться в ряды колесистов – последнее, что я сделал бы в жизни. А по правде, с трудом представлял и ее катящей на колесе. Но пусть помечтает – девушки это так любят, а мечтания красят их, что, в конце концов, так радует нас, мужчин.

Мне было интересно знать, как здесь перемещаются на верхние этажи – причем не только колесисты, а вообще все местное население. Но рано или поздно мы бы узнали ответ на этот вопрос, куда больше меня занимало другое: почему они вообще так мало останавливаются? Словно смысл жизни тех, кто мчит по мелодорожке, именно в этом и состоит: постоянно мчать. Но почему энергия на это бесконечное движение, в котором я не видел цели, идет из моего города, из моего дома? Да из меня самого она шла и из всех моих друзей? Я не хотел им говорить об этом, да и не знал, как сказать. Правда ли то, что сказал мне хранитель ламп, или он это придумал? Но только зачем? Ведь его никто не обязывал, он не должен был говорить это... А сказал. И почему именно мне?

Если его слова были правдой – выходит, мои бедные мама и папа, весь город смотрят в небо лишь для того, чтобы эти придурки имели здесь преимущество? А если не были? Как

в таком случае может работать мелик? Идиоту было понятно, что энергия, приводившая в движение колеса, не могла быть рациональной. Ее было невозможно объяснить.

– А правда, я выбрала классное сердце? – Вернувшись в реальность из размышлений, я понял, что Евпатория и не думала умолкать. – А вдруг это знак?

Я вздрогнул.

– Какой еще знак?

– Я и ты, – Тори перешла на шепот. – Две лампы слились в одну, и получилось сердце. И теперь они не могут одна без другой – их не разъединить, смотри!

– Будь осторожней со своей лампой, – прервал ее. – Я и так вижу: две половинки, да. Но где ты видишь связь со мной? На ней написано?

Я шутил неудачно и, наверное, был груб. Но слова хранителя о меликах не давали мне покоя, мешали думать о другом. Нужно при случае выяснить, разобраться, решил для себя я, а пока что – заставить себя забыть о них, спрятать в дальний угол памяти. Это давалось непросто.

Тори коснулась моей руки.

– У тебя там синий цвет, у меня – красный, понимаешь? Ни у кого больше цветов нет...

– Как нет? У Керчи вся лампа фиолетовая!

– У нее фиолетовое стекло, – настаивала Евпатория. – А у нас эта крошка... Как холод и тепло, как две противоположности...

– Тори, я не вижу здесь связи, – резко оборвал ее я. Мне хотелось спросить: о чем ты? У нас с Феодосией лампы вообще одинаковые, а это куда серьезней каких-то цветных крошек. Да и вообще, при желании связь можно было найти между любыми лампами: у Инкермана «рожок» пустой, у Керчи вроде тоже, да и у Фе: любопытное могло бы сложиться трио. Вот только я не верил ни в какие связи, о чем честно сказал Евпатории:

– Здесь нет связи.

Я уже и забыл, что Евпатория интересовалась мной – в Башне она поначалу была осторожной и даже не вспоминала, что я ей нравлюсь. Признаться, меня это устраивало. И вот снова!

– Фи, – сказала она, – связи нет ни в чем. Она появляется, когда ее видишь. Нам нужно увидеть связь – мне и тебе. Эта Башня дает нам такой шанс, посмотри, как здесь...

– Ребят, – прервала нас хмурая Керчь. – Мне кажется, я нашла связь.

– Ты что, нас подслушиваешь? – возмутилась Евпатория.

– И рада бы не делать этого, да негде спрятаться.

Я обернулся – Инкерман и Фе шли сзади нас, слегка отстав, – и облегченно вздохнул: хоть кто-то не слышал всех этих глупостей. Евпатория нетерпеливо дернула меня за руку и указала куда-то вверх. Я поднял голову и увидел под самым потолком табличку, похожую на городской дорожный указатель. А присмотревшись, нервно рассмеялся.

– Ну что, – укоряюще спросила Евпатория, – ты и теперь будешь утверждать, что нет связи?

Керчь наблюдала за нами, слегка улыбаясь. Конечно, теперь я не мог утверждать, что связи не было: на указателе, рядом с аскетичной черной стрелкой, устремленной вверх, красовалось слово:

СВЯЗЬ.

Правда, там были еще три буквы – чуть крупнее «Связи» – фиолетовых, как лампа Керчи: **WTF.**

Но что они означали, я – как и никто из нас – не знал.

– Что это, если не знак? – продолжала Тори, и я не понимал, то ли она всерьез ко мне клеится, то ли просто изощренно издевается. Но я знал Евпаторию: нет, изощренно – это не про нее.

– Вот вам и второй этаж. – Я услышал голос подошедшего Инкермана и только тогда сообразил: перед нами широченная движущаяся лестница, и она ведет наверх, на второй этаж уровня! Ох уж эта Тори, совсем заморочила голову своей «Связью».

– Ребят, мы просто обязаны отправиться туда, – призывала всех Евпатория.

– Еще бы! – воскликнул Инкерман. – Я никогда не видел движущейся лестницы.

– А что за связь? – спросила Фе, бросив недовольный взгляд на Евпаторию.

– Вообще-то, нас отправляли в сопутку, – вставил я.

– Мы все уже взрослые люди, чтобы нас куда-то отправлять, – фыркнула Тори. – Я отправляюсь куда хочу.

Не замечая нашего разговора, Инкерман чуть ли не приплясывал от радости:

– Смотрите, ступеньки складываются и раскладываются. Они вылезают как будто из земли. Как это сделано?

Я понимал причину его удивления: в нашем городе была всего одна лестница, ведущая к Точке сборки. Это неожиданное воспоминание натолкнуло меня на другую мысль: может быть, сам наш город точно так же «разбирается» на дальней линии возврата, возле Башни, чтобы вновь восстановиться возле маяка? И, невидимый, проплывает под нашим Севастополем, точно такой же, только подземный и пустой? Я не мог сформулировать свою догадку, лишь интуитивно понимал, что здесь могла быть какая-то связь... Связь, опять эта связь!

– Сопутка связана с лампами, – сказала Феодосия. – Не зря этот усатый-полосатый говорил, что их нужно беречь. Так что мы идем в сопутку. Или кто-то станет утверждать, что у нас здесь в Башне есть что-то важнее ламп? – Она снова недовольно посмотрела на Евпаторию.

– Проблема в том, что мы не знаем, где сопутка, – нетерпеливо сказал Инкерман. – А лестница – вот она!

Я снова улыбнулся, глядя на своих друзей: они словно открывались мне заново. Когда мы прокатились все-таки по этой складной лестнице, я даже не испытал никаких эмоций, не почувствовал ровным счетом ничего. Как не испытывали люди, которые двигались, стоя на соседних с нами ступеньках. Инкерман же чуть ли не плясал и пел от радости, пытался раззадорить Евпаторию, но та в который раз не поддавалась... «Сопутка сама найдет нас», – произнес я тогда, не понимая сам, почему так. Но я был уверен: Башня ведет нас и будет вести, пока мы сами не сделаем свой выбор. И если что действительно важно в Башне, так это точно не лестница. Лестница – это средство, какой бы красивой и удивительной она ни была. А мне хотелось знать цель и идти к цели.

«Связь» была за первым же проходом, ближайшим к движущейся лестнице. Строка с этим словом и все теми же странными буквами – WTF – бежала по глади зеркальной стены, и множество пляшущих стрелочек указывали на проход, завешенный на сей раз красной тканью.

– Как много здесь всего! – воскликнула Евпатория. Похоже, второй этаж отличался от первого только одним – здесь было больше надписей: сверкающих, блестящих, бегущих по стене, потолку и полу, возникающих в воздухе перед самым носом и так же растворяющихся... Встречались и привычные: напечатанные на указателях, которые торчали из стены и потолка.

В остальном здесь было все то же самое: прохожие, мелодорожки, высокий борт корабля по левую сторону. На указателе к следующему проходу я увидел скромную надпись:

SOPUTKA.

– Сопутка, ты моя сопутка, – смешно запел Инкерман и повернулся к Евпатории, припав на одно колено: – Ах, Тори, будь моей сопуткой! Сопуткой-незабудкой.

Евпатория заулыбалась и мечтательно закрыла глаза, но все это длилось не дольше, чем пролетал мимо нас очередной колесист на мелике. Лицо красавицы вновь приобрело неприступный вид, она быстро прошагала мимо Инкермана и скрылась за красной тканью под надписью «Связь».

– Она не оставляет нам выбора. – Я пожал плечами. – Как по мне, нужно было идти в сопутку. Но не бросать же Тори?

– Это точно, – поддержала Керчь. – Мало ли какая там обнаружится связь.

Инкерман изображал душевные терзания:

– Она не оставляет мне выбора, – причитал он, удивительным образом еще и передразнивая меня. – Как по мне, нужно броситься вниз, в это бушующее море!

– Вставай, кривляка, – сказал я, протягивая ему руку. – Никто этого не оценит.

В «Связи» оказалось очень душно. Я был знаком с такой духотой с самого своего выхода в мир: когда мама варила или кипятила что-то на нашей маленькой кухоньке, и от кастрюли поднимался пар, а я заходил на кухню и тут же покрывался потом и каплями стремительно испаряющейся влаги. Что-то такое было и в «Связи»: здесь тоже не проходило стойкое ощущение чего-то испаряющегося, вот только *что именно* испарялось – было не разобрать. Тут толпилось неожиданно много людей, тогда же, в «Связи», я впервые увидел колесиста, сошедшего с мелодорожки, чтобы посетить зазеркальный зал.

Сосредоточенные люди стояли возле витрин, разглядывая выстроенные в несколько бесконечных рядов одинаковые квадратные коробочки из пластика размером с человеческую ладонь, выкрашенные в фиолетовый цвет. Внизу, в городе, бывали магазины, в которых севастопольцы приобретали все необходимое для быта, но чем в быту могли быть полезны такие коробочки, я понял совсем не сразу, а сильнее всего меня удивляло то, что гигантское пространство зала было отдано под единственный товар. Посетители гудели и галдели, рассматривая квадраты, сравнивали их и живо обсуждали. Выглядело это нелепо. Но ладно галдеж, так и сами фиолетовые квадраты в руках этих непрерывно издавали звуки: пип-пип, динь-дилинь, уа-уа, фиу-фиу... Одни напоминали удар колокола, другие – шум морской волны, третьи – звук разгоняющегося автомобиля, четвертые – и вовсе бляенье козла. Все эти звуки сливались в один раздражающий фон, но людям, судя по всему, было комфортно здесь находиться. По их лицам разливалось удовольствие, как масло по слегка нагретой сковородке. Недалеко от себя я увидел Тори. Она разговаривала с совсем молодым человеком, одетым в фиолетовые джинсы и футболку. В районе груди у него красовалась все та же надпись WTF и неумело нарисованная рука с выставленным вперед средним пальцем, который прижимался к носу некрасивого, я бы даже сказал, уродливого человека. Безобразно нарисованное лицо выражало то ли удивление, то ли отвращение, то ли ужас.

Я заметил, что молодой человек, с которым говорила Евпатория, если и был симпатичней лица на футболке, то ненамного. В его ушах были проделаны огромные дыры, а язык разрезан на две части, подобно пустынным гадам, которые водились в небольшом количестве у забора, окружавшего Башню. Говорил он так быстро, что я едва успевал понимать слова – словно выплевывал мелкие камешки изо рта.

– Это вотзефак, вотзефак, знает в Башне любой дурак, вы, наверное, спросить хотите, как же им пользоваться, как, как?

Молодой человек странно раскачивался, произнося эти нехитрые слова, сгорбливался, но при этом расправлял плечи и широко расставлял руки, то сводя, то разводя их снова. В Севастополе никто не одевался так, не выглядел и так себя не вел. Парнишка сразу мне не понравился, и я схватил Евпаторию за руку.

– А ну, пойдем отсюда! Посмотри, что здесь происходит! Ты что, хочешь во всем этом участвовать?

– Ну, он так интересно объясняет. – Евпатория то ли скривилась, то ли улыбнулась. – Я заслушалась! Он меня, можно сказать, очаровал!

– Кто, он? – воскликнул Инкерман и тут же сделал то, чего я совсем не ожидал: вытянул руку, выставил вперед средний палец и приложил к лицу человека в фиолетовом – совсем как на рисунке возле надписи WTF.

Я даже застыл, выпустив ладонь Евпатории: мне казалось, что начнется драка. В нашем Севастополе никто не дрался, ведь никто не имел друг к другу претензий, но другое дело – на спор, ради забавы или просто для поддержки тонуса. Мы с Инкерманом дрались нечасто, но оба умели и даже, чего там скрывать, любили, хотя в артеках это не приветствовалось: могли нагрязнуть с претензией прямо во двор к недалеким. Но Башня – иной разговор, здесь я внезапно осознал, что впервые придется применить накопленное мастерство против кого-нибудь еще.

Недавний собеседник Тори прокашлялся и доброжелательным четко поставленным голосом обратился ко мне:

– Добро пожаловать в «Связь»! Я Никита.

– Никита! – прыснул Инкерман.

– То, что вы здесь не случайно. Ведь вы совсем недавно в Башне и едва успели получить лампы. Вам все кажется удивительным и странным, и у каждого свое мнение о том, что вы видите вокруг, и свой взгляд на то, чем хотели бы здесь заняться. Но вы боитесь потерять друг друга, а потому держитесь вместе, ведь были друзьями с самых ласпей до того, как капсула социального лифта не подбросила вас сюда.

Закончив речь, этот Никита протянул мне руку. Опешив, я машинально пожал ее. Признаться, даже не знал, что ответить. За меня это сделала Тори.

– Чего? – спросила она, вытаращив глаза.

– Видите ли, – улыбнулся парень в фиолетовом, – я взаимодействую с разной аудиторией, и ко всем необходим свой подход.

– Это задача непростая, – скептически ответил я.

Никита кивнул.

– Эм-м... Но это не точно. Куда сложнее окажется ваша задача, – продолжил он, – если вы уйдете из «Связи», так и не получив вотзефак.

– Вообще-то, мы до сих пор друзья, – сказал вдруг Инкерман, пока мы все раздумывали над странным словом.

– Попав в Башню, вы получили миссию. – «Фиолетовый» словно не обратил внимания на его слова. – Но каждый пройдет ее по-своему или не пройдет вовсе. Не каждый из вас севастополист, но каждый отныне житель огромной Башни. В каком бы отдаленном уголке вы ни находились, вотзефак поможет узнать, как дела у другого, поделиться информацией и даже договориться о встрече... Когда вы здесь освоитесь, конечно. – Он улыбнулся.

– Что вы имеете в виду... вот это слово.

– Вотзефак? – с наслаждением произнес Никита.

– Да, вот этот вотзефак, квадратная коробка. Как она поможет нам общаться? Это же какой-то бред.

– Бред, – согласился фиолетовый. – Наверное, как и то, что едет колесо... а на нем человек, и он не падает. Это кажется невероятным, да? – Я вспомнил слова Луча, хранителя ламп, и поморщился: неужели здесь все работает на небосмотрах севастопольцев, этой чистой энергии, идущей из глубины душ?

– Здесь все кажется невероятным, – глухим голосом ответила Керчь.

– Лишь потому, что вы еще не привыкли, – беззаботно рассмеялся парнишка. – Башня – это безграничная свобода. И оценить все ее прелести можно, лишь приняв эту свободу, впуская ее в себя. – Он прижал руку к сердцу, как раз в том месте, где был несурзанный рисунок. Это рассмешило меня, но Никита не обратил внимания.

– Вот как вы встречались внизу? – спросил он. Я пожал плечами:

– Инкерман заходил за мной, ну, или я. Когда как. И вместе заезжали за девчонками.

Фиолетовый кивнул сочувственно, но я уже понимал, что никаких эмоций он на самом деле не испытывает; выполняет свою роль – стоит говорит... В который раз в своей жизни он

все это делал? Кем он был за пределами этой роли, был ли он вообще за ее пределами? И мы, и наши судьбы, и наши миссии были ему так же фиолетовы, как эти вотзефаки.

– А теперь представьте, что вам надо зайти друг за другом здесь, в Башне? Разойдитесь в разные стороны, поверните за пару углов. Вы больше не найдете друг друга, не встретите. Я гарантирую это! И вам останется лишь одно. – Парнишка округлил глаза и сделал «страшное» лицо. – Вотзефак? Вотзефак! Вотзефа-а-ак! – Он сложил ладони трубочкой и приложил к губам.

Я хотел было одернуть его – слишком уж увлекся парнишка кривляниями, – но меня перебила Евпатория.

– Смотри, здесь все очень понятно, – деловито начала она. В одной руке девушка держала лампу-«сердце», а другой ловко манипулировала, проводя пальцами по блестящей поверхности странного устройства и нажимая на нее. – Вот на этом экранчике – мы. Нажимаешь сюда-а...

– Как я могу быть на каком-то экранчике? – удивился я. – Ведь я здесь.

Никита расхохотался, впрочем, беззлобно.

– Вы можете быть где угодно, при этом на экранах ваших друзей будет значок – его вид и форму вы можете выбрать сами. В памяти вотзефака сохранены тысячи картинок, и, если вам станет вдруг скучно, вы сможете пролистать их и сменить изображение, обозначающее друга. То же и с мелодиями...

Евпатория аж подпрыгнула и захлопала в ладоши от радости. Я все больше удивлялся, глядя на нее, но не показывал виду, в конце концов, каждый волен быть таким, каким хочет. И даже если бы она разбила лампу, вряд ли стала бы от этого менее счастливой. Что важнее, лампа или счастье – это ведь тот еще вопрос, и даже для меня, вцепившегося в толстое стекло изо всех сил, ответ на него был не так очевиден.

– Так что же? – Я услышал голос Фе. – Мы сможем видеть друг друга? Разговаривать?

– Эм... Но это не точно, – сказал Никита. – Вотзефак дает возможность только переписки. Смотрите. – Мы наклонились над квадратным экранчиком. – Вы видите значок, который задан на вашего друга, и можете ему написать. Он видит такой же квадрат – вас, то есть, и может писать вам.

– Вы же говорили про картинки, – с недоверием уточнил Инкерман. – А тут какие-то квадраты: красный, синий...

Никита прищурился и внимательно посмотрел на Инкера:

– Неужели не догадаетесь?

– Мы здесь не за этим, – оборвала его Фе. – Объясните, как работает эта штука, и мы пойдем.

Парнишка распрямился, принял гордый вид и учтиво, но твердо ответил:

– Вы ошибаетесь, прекрасная девушка. Вы здесь именно за этим. Вы все, я имею в виду. И вообще, все, кто пребывает в Башне, – все они пришли сюда, чтобы догадываться. Все они догадались. Так что догадаетесь и вы. И это точно.

– Кажется, начинаю догадываться, – сказал я неуверенно. – Самый смелый из нас поднимется уровнем выше. Тот, кто все равно решил продолжить свое странствие. И, увидев, что там происходит, сообщит всем остальным. И, по-моему, я даже...

Мне хотелось сказать, что этот первый уровень с его вотзефаками, мелодорожками, кораблем-который-не-корабль и прочими сомнительными прелестями, хотя я толком не успел его узнать, уже наскучил мне. Не сказать, что мне здесь не нравилось, но и не особо увлекало. Я не знал насчет остальных, но сам был бы не прочь отправиться выше, не изучая, чем еще богаты эти проспекты и этажи. Но меня перебил смех Никиты – он стоял, закинув голову, и хохотал, а отсмеявшись, сделал ко мне шаг и зачем-то похлопал по плечу, словно был мне давним другом вроде Инкермана. Нет, определенно, мне не нравились здешние манеры!

– Если бы вы знали, – произнес он, отсмеявшись, – сколько раз я слышал в этом зале подобную догадку... Слово в слово, точь-в-точь!

Я уже и сам понял, что сморозил глупость. Конечно, в Башне не могло быть все настолько просто. Мне хотелось быстрее покинуть душный зал, да и от ужимок этого странного типа мне было совсем не весело.

– Эм-м... Но это, как вы понимаете, не точно. – Меня взяло раздражение: зачем он повторял эти «точно – не точно»? – В общем, понимаю, все устали, и здесь действительно жарко. Смотрите! Вотзефак, конечно же, работает на несколько уровней Башни. Было бы странно создавать для каждого замкнутую систему. Я живу здесь, и я, например, никогда не бывал наверху. Да и не особо хотел; девушка, вижу, меня понимает. – Он подмигнул Евпатории. – Но у меня были знакомые, кто пошел. Что я могу сказать? – «Фиолетовый» пожал плечами. – Вы подумайте только, как бы изменился мир, если бы сверху могли приходить сообщения, что там да как. Мы, живущие здесь, имеем возможность писать тем, кто выше, но... правда, какой в этом смысл? А что там, наверху, никто не может знать, пока его не вознесет, – он так и сказал почему-то: «вознесет», – социальный лифт. Башня стоит на этом!

– Я думал, она стоит на земле, – ухмыльнулся Инкер. – На твердой севастопольской земле.

– Все мы родом из Севастополя, – бросил Никита, вряд ли вкладывая какой-то смысл в свои слова, и тут же опять добавил: – Но это не точно.

Я взял вотзефак, подержал на ладони. Он оказался совсем не тяжелым. На экране было несколько квадратов слева и один, но большой – в правом верхнем углу. «Мой», – догадался я. Маленькие зеленые кружочки подсвечивали каждый квадрат. Область экрана под большим квадратом была пустой.

– Квадраты стоят по умолчанию. Вы должны настроить сами, какие картинки хотите видеть вместо них.

Приложив палец к экрану в том месте, где находился желтый квадрат Фе, я тут же получил отклик от вотзефака: устройство завибрировало. От неожиданности я дернул пальцем и заметил, как за ним «поехал» и квадрат. Он переместился в левую нижнюю плоскость экрана, немного увеличился в размере, и тут же возникло новое, полупрозрачное поле поверх всех квадратов. В поле я увидел буквы, цифры и картинки. «Должны, – говорил Никита, – должны...»

– Почему должны? – спросил я его, оторвавшись от экрана. – А может, мне нравятся квадраты?

– Вы шутите? – «Фиолетовый» сказал это так, словно я оскорбил его. – Никому не нравится умолчание. Умолчание, оно там, внизу, вся эта Широкоморка... и что у вас там еще.

– Вы были когда-нибудь в Севастополе? – спросил я его, глядя в глаза.

– Нет, я родился здесь... Плоть от плоти нашей Башни в нескольких поколениях. И у вас когда-нибудь родятся маленькие люди, и знаете, вряд ли они будут тосковать по тому, что там, внизу... И это точно!

Я попытался представить, чем здесь занимаются маленькие люди, и, если честно, не смог. Ведь было даже непонятно, есть ли здесь артеки.

– А что они будут делать? – спросил я. – Торчать здесь с вами и разглядывать вотзефаки?

– Возможно, – сказал он без тени иронии или сомнений. – Люди любят вотзефаки, и маленькие люди, и большие. Они подолгу торчат здесь и в других точках связи и делают это с удовольствием. Это точно!

– В чем же удовольствие, – вступилась Керчь, – когда у всех одинаковые устройства? Интересно различаться. Вы же сами сказали что-то там про умолчание...

– Вот чтобы вы так не говорили, подключим и вас к вотзефаку. – Парнишка залез в огромный мешок фиолетового цвета, который стоял прямо на полу возле нас, и тогда я впер-

вые заметил, что такие мешки находились здесь повсюду; сверху донизу они были наполнены вотзефаками. Парнишка достал один и протянул Керчи – все остальные уже держали в руке по устройству, хотя я совсем не заметил, как оно попало к Инкерману или той же Фе. Впрочем, не это было главным.

– Вы не ответили на вопрос, – напомнил я Никите.

– Не чувствуете разницы?

– Если честно, нет.

– Вы еще совсем недавно в Башне, – разочарованно, но при этом утешительно ответил Никита, – и не poznали всей прелести. Понимаете, он одинаковый – но одинаковый у тех, у кого он есть.

Я, кажется, понял, о чем он. Но оставался один вопрос – и мне очень не хотелось задавать его, тем более было наперед известно, что от этого изворотливого человека вряд ли узнаю что-то ценное. Но вопрос не давал покоя:

– Как это работает? Так же, как мелодорожки?

Но ответ «фиолетового» был таким, что я не усомнился в его искренности. Всплеснув руками, он задорно рассмеялся:

– Я не знаю! Разве это важно? Здесь, в Башне, никто не думает, *как* что-то работает. Зачем это знать? Вы, признаться, первый...

– Все понятно, – отрезал я. – Спасибо за ваш... вотзефак. – Я с трудом привыкал к слову. – И прощайте.

– Все будет фиолетово, – улыбнулся парнишка и отвесил смешной поклон.

– Но это не точно? – в шутку добавил я, однако он уже развернулся и бодрым шагом направился в гущу людей. Я не успел проводить его взглядом, как Никита растворился в гудящей толпе.

– Фи! – проворчала Евпатория. – Ну что ты такой зануда! Посмотри, какая крутая вещь! И вообще... здесь же, наверное, принято есть. Нам пора бы найти здесь место, где у них можно поесть.

– У нас, – поправил я девушку, но та предсказуемо не поняла. – У нас, Евпатория. Это место теперь – у нас.

– Ну, у нас. – И она рассмеялась, подражая парнишке из «Связи»: – Но это не точно... да?

– Это точно, – хмуро ответил я.

Сопутка

Попав на проспект, мы не могли надышаться: воздух здесь прогонялся через огромные контейнеры со створками, которые то сдвигались, то раздвигались, и было существенно меньше людей и звуков.

Мы никуда не шли: стояли неподалеку от входа в зеркальный зал, уставившись в вотзефаки. Я снова выделил желтый квадрат, «потянул» его, создав поле для диалога, и стал выбирать буквы: «П, р, и, в, е, т».

Едва я набрал слово, как вылезло новое полупрозрачное поле, скрывшее оба прежних. На нем были с десяток движущихся картинок. Каждая была похожа на мяч, только глазастый, зубастый, языкастый мяч, один даже крутился вокруг своей оси, а другой – подпрыгивал. Сначала я даже испугался – нет, я, конечно, не думал, что эти фигурки выскочат из устройства и окажутся вдруг на моей голове – хотя чем Башня не шутит? Но все они были настолько реалистичны, настолько убедительно корчили свои рожицы, что я принял их за живых, подумал, что они общаются со мной, что сам вотзефак сообщает мне важное – только непонятное – послание.

Но я, конечно, ошибался. Едва я выбрал первый же мячик – который среди всей «компании» был самым скромным, лишь улыбался и хлопал глазами, – как поле исчезло, а выбранный мной мяч уменьшился до размера букв и занял свое место в их ряду – сразу после слова «привет». Я нажал на стрелку, и появилась новая строчка.

«Кто ты?» – написал я.

И тут же рядом со мной раздался короткий и громкий гудок: он очень напоминал звук «фи-фи», что меня, конечно, позабавило. Я нисколько не сомневался, что мое послание получит именно Феодосия, хотя и выбирал первый попавшийся квадрат. Фе улыбнулась и принялась за свой вотзефак. «Как быстро это слово вьелось в нас, стало неразрывным с нами, – подумал я, глядя, как все копаются в своих экранчиках. – Как будто мы родились с вотзефаком в руке. А ведь мы и не знали о том, что он существует, еще какую-то... ну хоть бы эту движущуюся лестницу назад».

«Как и ты, избранная», – прочитал я на своем экране.

– Ну хватит баловаться, – сказал я, пытаясь вернуть всех в реальность. – Нам же сказал Никита: эта штука нужна на тот случай, если мы окажемся далеко друг от друга.

– А мне почему-то кажется, что с ней это произойдет быстрее, – ответила Керчь. – Может, выкинуть в море, пока не поздно?

– Керчь! – взорвалась Тори. – Ну ты что, глупая? Ей вручают все самое лучшее, что есть в Башне! Достижения поколений! А она – в море!

Вотзефак в моей руке завибрировал, и возле красного квадрата появилась надпись: «Фи, ну поддержи меня! Я же права?»

Но едва я начал отвечать, как устройство завибрировало снова. «Ты такой красивый здесь, в Башне. К тебе будто пришла жильца!» – и несколько мячиков. Каких? Ну разумеется, прыгающих. На экране возникла надпись: «Ответить?», «Переадресовать?». Я и не знал, что так можно, а узнав, подумал: было бы забавно перенаправить ее последнее сообщение на квадрат Инкермана. И пусть разбираются без меня!

Но вместо этого открыл окно с мячами и выбрал самый спокойный из них – который посапывал, закрыв уставшие глаза, где-то внизу экрана.

– Вот бляха-муха, а прикольная игрушка, – прервал нашу сосредоточенную тишину Инкер, и все закивали, что-то говоря в ответ. А мне стало грустно: я понял, чего этой игрушке не хватало.

– Вот бы можно было вниз писать, – сказал я. – В город.

– Ага, – откликнулась Тори. – И что б ты написал? Какой ты зануда?

– Не знаю, что-нибудь спросил бы, – пожал плечами я. – Ну, например, какого цвета небо? Такое же, как при нас, или...

Мне снова вспомнилась картина: Широкоморское шоссе, наши дома, неторопливые люди... У них нет никаких устройств, никаких вотзефаков, и вряд ли они жалеют о том. Да и мы никогда не жалели. Я садился за руль, заводил свою красавицу, наслаждаясь, как она рычит, как плавно трогается с места, медленно катит вдоль стен неподвижного города. Я ехал к Инкерману и знал, что он дома – а где же ему еще быть? – что выйдет навстречу мне, сядет рядом и скажет «Привет». И все будет хорошо – то есть *как обычно*.

Я махнул рукой, не договорив; и вправду, что могло статься с небом Севастополя? Ему нет никакого дела, ходят ли под ним пятеро отчаянных ребят или отправились искать себе лучшей доли... А вот у нас еще были дела.

Мы заглянули в следующий проем и обомлели. Здесь все было выполнено в красном цвете – его источали стены, пол, потолок, сам воздух сочился красным настолько, что это резало глаза. Сам зал был значительно меньше, чем тот, где мы выбирали лампы, и тот, где нам вручили вотзефак. Я не сразу даже понял, что в этом зале есть человек. Но кто-то сидел в углу, в красном балахоне, с накинутым на голову капюшоном, сливаясь со стенами, и молчал.

Мне стало неуютно в этом месте.

– Ребят, кажется, мы ошиблись. – Я развернулся в сторону красной ткани, скрывавшей провал.

– Погоди, Фиолент! – прервала меня Фе. – Это следующий, там написано: «Сопутка». Я не могла ошибиться!

– Ошибки быть не может, – раздался хриплый и недовольный голос из угла маленького зала, где сидел странный человек в красном. Других посетителей, кроме нас, не было. Человек закашлял и начал медленно подниматься, и это вселяло если не страх, то волнение. Мы по-прежнему не видели его лица. Мы вообще мало что видели: с пола будто поднимался красный пар, но, в отличие от зала с вотзефаками, здесь совсем не было жарко. Напротив, я поежился от холода.

– С тех пор, как вы попали сюда, все ошибки кончились. – Странный человек продолжал кряхтение. – Забудьте про это: ошибки, – он произнес слово несколько раз, словно пытаясь отвязаться от него. – Какие-то ошибки... Все они остались внизу. А здесь не ошибаются.

– А вы кто? – недоверчиво спросил я.

– Азов, – бросил он. – Но вам ведь это ни о чем не скажет, верно? Так задавайте правильные вопросы.

– А это, что же, – спросил удивленный Инкерман, показав на стены, – и есть сопутка?

Мне пришлось долго всматриваться, чтобы понять, о чем же он говорит. Глаз никак не мог привыкнуть к концентрированному красному, но вот, кажется, сквозь его плотную завесу начали проступать очертания непонятных черных предметов, и они были очень странны. Сначала я подумал, что предметы висели прямо в воздухе, но, скорее всего, за ними была стена.

– Наверное, Керчь, тебе понравится, – сказала Феодосия.

Перед нами висели плети разных размеров, толстые обручи, утыканные шипами, короткие тонкие палки и что-то совсем загадочное, напоминавшее по виду черные груши или лампочки, но не такие, как были в наших руках, а простые, домашние, только к которым зачем-то приделали пышный собачий хвост. О назначении этих предметов я не мог и догадываться, но Керчь действительно смутилась, а значит, была осведомлена о таких вещах лучше. Не зря же читает книжки!

– Зачем это? – нерешительно спросил я.

– А вот возьму и покажу вам всем, – огрызнулась Керчь. – Да так, что мало не покажется.

– Спокойно, спокойно, – сказал Азов, делая маленький шаг в нашу сторону. – Вы действительно на месте. Дело в том, что это и есть сопутка. Но она вам вряд ли пригодится. А если уж кому и пригодится, – тут он прищурился, – то я уверяю вас, этот кто-то вернется сюда один, без компании.

– Скорее, одна, – рассмеялся Инкер, и Керчь ткнула его в бок.

– Такова сопутка жизни, – продолжил человек в красном балахоне.

– Не от самой, наверное, веселой жизни выбирают такую сопутку, – задумчиво сказала Фе. – Но лично мне она ни к чему. Не знаю, как... – Она вопросительно посмотрела на меня, потом на Инкермана. Мы пожали плечами: мол, нет. Нам тоже вроде не нужна.

– Тогда зачем мы здесь? – спросила Фе. – Ведь нас к вам направили!

– Увы, увы, – запричитал Азов. Он стоял сгорбленный, никак не мог распрямиться. Мы не видели его взгляда в красном тумане, но ощущали его на себе. – А что делать? Я занимался тематическими экспозициями сколько себя помню. Я, можно сказать, вышел в мир среди них и знаю о них все. – Он глухо рассмеялся. – Но теперь меня потеснили, а грозятся и вовсе выгнать! Занимайся, мол, правильным делом – или освобождай помещение.

– А сопутка – это правильное дело? – неуверенно спросила Фе.

– Нет, не сопутка, – махнул рукой Азов. – Никому не нужна такая сопутка! А я помню, бывало иначе... Не нужен был весь этот красный свет, дурацкий антураж... Это же они заставили прикрыть от маленьких людей, от тех, чьи чувства может случайно задеть. А моя сопутка – знаете, она нужна, чтоб задевать! Если бы вы видели, какое здесь творилось! В мою сопутку валом валил народ со всей Башни! Про нее слагали легенды...

– Но что-то, видимо, пошло не так? – предположили мы.

– Другая волна нахлынула, – сокрушенно сказал Азов. – Так что вы хотели-то? Оптимизация по всей территории Башни. Некоторые под всякую туфту по типу той, что вон у вас в руках, объединяют залы, а нам оставляют крохотные каморки. И если бы не эта социальная нагрузка, торговал бы на проспекте возле лестницы, сел бы на пол, спиной прислонился – и вперед...

– Какая социальная нагрузка? – не понял я.

– Та, за которой вы пришли. – Человек в красном возмутился, пораженный нашим непониманием.

Помню, где-то на этих словах мы его и увидели. Он был старый, сухой, с огромным горбатым носом, выдающимся вперед из капюшона. Я прозвал его мысленно «человек-нос», потому что, кроме носа, толком и не видел его лица. Лишь иногда, когда он поворачивался и пристально глядел на меня, я мог рассмотреть его маленькие злые глазки. Они поблескивали нездоровым огоньком. По мне, в этом зале и не могло быть иначе: в нем все казалось нездоровым.

– Вам ведь нужны чехлы для лампы, так? – Я увидел по бокам балахона два безразмерных кармана. В один из них и полез хозяин этого зала, который, покопавшись, достал связку крупных ключей. Он подошел к фрагменту стены, где висел самый, наверное, огромный кнут – и, не будь в его руках связки, я бы, честно, испугался, подумав, что он примется стегать нас этим кнутом, прогоняя прочь из своего жутковатого царства. Но он лишь просунул ключ – как мне показалось, в самую стену, – и, буквально из небытия, из густого красного пара выдвинулся ящик.

Азов обернулся к нам.

– Я знаю, что они нужны вам... Азов очень многое знает. В этих залах такие пошли господа. – Я подивился странному слову – никто его не употреблял в Севастополе, да и в Башне не доводилось слышать. – Каждый занят своей функцией, своей микроскопической обязанностью, и считает ее призванием, этим старомодным словом. Никто не хочет видеть дальше

собственного носа. – Услышать от него такое было дико, но я, конечно, смолчал. – Ох, моя сопутка бы их погоняла... Как погоняла бы!

В чем-то он был прав, этот старый уродец, подумал я. Взять того же парнишку в фиолетовом. Вся его жизнь – среди вотзефаков и одержимых вотзефаками людей. Что он знает еще? Ничего? Интересно ли ему что-нибудь? Нет. Луч, хранитель ламп, конечно, благородней, интересней, но ведь и он... Никто из них не покидает свой зал, никто не хочет знать, что наверху, внизу, снаружи. Какой-то герметичный мир, подумал я. Но ведь новое поколение – те, кто только пришел в Башню, кто вышел не в этот замкнутый мир, а в город Севастополь – они должны, обязаны пытаться что-то выяснить. Занять свое место в похожем зале, принять на себя какую-то функцию, да хотя бы и несколько, и дополнительную, «правильную» нагрузку... Нет, на это нельзя соглашаться, убеждал себя я. Нужно изучать, нужно понять, как и зачем здесь все устроено, нужно нестись вперед, мчаться на всех парах, чтобы в своем – первом, единственном – поколении разгадать тайну этой Башни, а не застрять здесь в пятом-шестом или пятисотом-шестисотом таким вот старцем в красном балахоне, встречающем новых нас.

Все эти мысли отвлекли меня от разговора, а ведь носатый что-то объяснял:

– Вы дадите питание лампе, когда решите остаться на каком-то из уровней Башни, либо если выполните миссию. Здесь все просто. – Он повернулся к Евпатории. – Дайте-ка мне, не бойтесь...

Девушка неуверенно передала в его руки лампу. Азов покрутил ее в руке, а затем принялся копаться в ящике.

– Знаете, смешно, конечно, – продолжил он. – Но женщины с такими лампами всегда были частыми гостями в моей сопутке. И, надо сказать, довольными – всегда для них хоть что-нибудь, но находилось.

Кажется, он давился беззвучным смехом. Евпатория оглядывала стены – и, надо признать, действительно делала это с интересом.

– Вот, – человек в балахоне достал что-то черное и бесформенное. Не торопясь поместил туда лампу и отдал Тори: – Это чехол, ничего необычного. До тех пор, пока вы не определитесь с судьбой вашей лампы, а стало быть – и со своей судьбой, вам нужно просто сохранить ее. И обращаться с ней придется очень бережно, потому что другой лампы вам, увы, не дадут. Если разобьете или потеряете свою лампу, останетесь на том уровне, где это произойдет.

Азов взял лампу у Керчи и так же рутинно, не торопясь, принялся подбирать чехол. Я спросил его:

– Выходит, даже если я очень хочу, даже если я – избранный, обязанный пройти миссию, но случайность лишит меня лампы, я что, не смогу идти дальше?

– По всему выходит, что так, – подтвердил он.

– Даже если я – севастополист?

– О, – дернулся Азов, отыскав чехол для лампы Керчи. – Севастополист лампу не потеряет. Севастополист пройдет миссию!

– А знаете загадку? – вдруг прервал нас Инкер. – Сколько нужно избранных, чтобы вкрутить одну лампочку? Знаете, а?

Никто из нас не знал, не понимал, к чему он клонит, а человек в балахоне и вовсе не хотел в этом участвовать. Он взял следующую лампу и предался поиску чехла.

– Пятеро, – просиял Инкерман.

– Ну и почему же? – с неохотой спросила Керчь.

– Так это, один держит лампочку, а четверо вращают лестницу. – Он звонко засмеялся, и я поразился, как неуместно звучал в этом жутком зале простой человеческий смех.

– Сколько нужно Инкерманов, чтобы рассказать смешную шутку? – недовольно фыркнула Керчь.

– Да что ты, не помнишь знаменитой севастопольской хохмы? – простодушно удивился Инкер.

– Я не слежу. И не следила, – поправилась она, – за севастопольскими хохмами. Заняться мне больше нечем!

– По существу все верно, – неожиданно встрял Азов. – Севастополист – личность центральная, она занимается делом. А все остальное вертится вокруг него. Держите свою лампочку, мадам. Кто следующий?

Его слова поразили меня, хотя их содержание было очевидным. Помню, я задумался над ними – и больше ничего не слышал и даже не рассматривал сопутку, эти странные предметы, окружавшие меня. В первый раз я подумал: как было бы здорово остаться, побыть одному. Мне нужно было собраться, прислушаться к себе, нащупать в себе стержень – ту самую идею, миссию. Я не знал еще, как это объяснить, но чувствовал, что вкрутить лампу – это лишь облобочка, внешнее оформление того, что должен сделать избранный. Это эффект, жест, оправа. Но что она обрамляет, что? Доведется ли мне понять это, успею ли я, окажусь ли на то способен? Эти вопросы терзали меня, нужно было поймать, ухватить, зацепиться за что-то, способное придать мне спокойствия. И сил.

Сжав свою лампу крепче, я очнулся, вынырнул, словно из вод Левого моря, и лишь когда руку несколько раз дернули – увидел перед собой узкие глазки уродливого человека. Они сияли сумасшедшим огоньком, искрились чем-то диким, неведомым для меня. Но они больше не были злыми, я не видел в них ни капли зла. Азов делал свое дело – он помогал мне, он был мне нужен. А кем он был, каким – так ли это важно?

Я разжал хватку.

– Ваши лампы, – говорил он, копаясь в ящике, – еще и пропуск к заселению. Вы же ведь задумывались, как здесь живут, где? Спят, приводят себя в порядок. Все это есть!

– И где же? – спросил я.

– На уровне есть жилые кварталы – или села, как их называют. Они тоже что-то вроде проспектов, но стены там не зеркальные. В каждом зале живет человек. Или семья.

– Семья? – удивился я. – Красивое слово. Что это?

– Вы не знаете, что такое семья? – удивился Азов. – Как же вы жили?

– По несколько человек в доме. – Я замялся, не зная, как объяснить. – Таким кругом своих недалеких.

– Ну, допустим, так, – осторожно согласился он. – Такой вот круг недалеких мы, пожалуй, и называем семьей. И живут они в тех самых селах. Без излишеств, но жить можно. И главное, этих нет, мелодорожек. – Он выругался. – Тьфу на них. Вот на кого я надел бы вот это, а потом бы впечатал в это, и вот тем его, вот тем!

Несмотря на красный туман, хозяин этого зала великолепно в нем ориентировался и мгновенно находил то, о чем говорил. Я морщился, представляя, как можно было бы использовать эти мрачного вида шипастые, острые или, наоборот, излишне тонкие и гнущиеся артефакты – и точно не хотел бы ощутить их на себе. Но как только узнал, что этот угрюмый человек тоже не выносит на дух колесистов, так проникся к нему симпатией.

Но интересно было другое.

– А лампа, лампа-то при заселении зачем?

– Ее нужно вставить и провернуть, – ответил, не оборачиваясь, человек в балахоне, – чтобы открылась дверь комнаты. Без лампы она не откроется. Так же здесь и с некоторыми лифтами.

– Обалдеть, – воскликнул Инкер. – А если с лампой что случится – где же тогда жить?

– В селе для потерявших лампы, – так же спокойно сказал Азов. – Оно немного в другой стороне.

– Страшно даже представить, что там, – угрюмо произнесла Керчь.

– Ну вот, наконец я нашел и под вашу лампу... Ох уж эта социальная нагрузка! – Носатый повернулся ко мне и протянул чехол. – Надежный, выдержит падение, конечно, если не со всей дури. – Ответив на мой немой вопрос, он продолжил: – А про село для потерявших – не переживайте. Там все то же самое, что и для тех, у кого есть лампа. Я это знаю, – его голос на этих словах помрачнел.

– И в чем же разница? – удивился я.

– Разница только в том, есть ли у вас лампа, – ответил хозяин зала. – Но это ощутимая разница, уж поверьте мне. Пока она есть, вы все делаете с помощью лампы. Лампа запускает социальный лифт. Без нее никакое желание не сработает, никакая уверенность в том, что вы там, – он показал наверх, – кому-то или чему-то нужны. Пока у вас есть лампа, все ваше существование крутится вокруг нее. Она озаряет его своим невидимым светом.

– По-моему, это смешно, – расхохоталась Евпатория. Человек в балахоне вздохнул.

– И смешно это тоже только до тех пор, пока у вас есть лампа. На самом же деле ваши лампы не зажжены, с этим спорить глупо. Но это не значит, что они бесполезны. Лампа способна не только питаться – она и сама подпитывает вас. То, что в вас есть, становится в вас сильнее, смутные очертания приобретают конкретные формы... Не сразу. Но пока у вас есть лампа – у вас есть движение. И вы спите в селе для тех, кто проснется и снова пойдет вперед. Село для потерявших лампу такое же, как и для тех, кто добровольно выбрал уровень. Но там живут другие люди, с совсем другой судьбой.

– Не завидую им, – вставила Фе.

– И напрасно, – резко ответил хозяин зала. – Порой их судьба гораздо счастливей, чем тех, кто носится с лампой. Или кого носит лампа. Но это все лирика, а я, знаете, не лиричен.

– Оно заметно, – улыбнулся Инкерман. – Вся ваша сопутка кричит об этом.

– Сопутка не кричит, – мрачно заметил Азов. – Но ее молчание пробуждает крики. А, – он махнул рукой, – хватит болтать. Захотите остаться на уровне – точно за ней придете. Жизнь без движения ох как повышает интерес к сопутке... В общем, так: на каждом уровне есть автомат «Прием Тары». Говоря по-простому – лампоприемник. Видели?

– Не доводилось, – ответил я.

– Если решите остаться, вам нужно бросить туда лампу. Как только аппарат ее проглотит, вы становитесь жителем уровня навсегда. И весь ваш дальнейший род тоже. Выбор, как вы понимаете, серьезный. – Он снова скрылся в углу своего зала, за красной пеленой, и принялся листать какие-то бумаги.

– Я порой думаю, а точно ли я избранный, – задумался Инкерман. – Может, мне все это снится? Может, я много куста курнул? И сижу возле стен Башни, все никак не приду в себя.

Азов снова вынырнул из красного тумана. Он посмотрел на нас внимательно и медленно произнес:

– Ваши лампы под защитой. Берегите, чехлы не теряйте. Все, что по инструкции рассказывают, я вам сообщил. Больше ничего не знаю.

– А как добраться до села? – неуверенно спросил я. – Ну, чтобы заселиться?

Хозяин зала посмотрел колючим взглядом, но я выдержал.

– Вообще, я никогда не повторяю, – твердо произнес он; я вдруг заметил, что в зале начало темнеть – красный цвет стал принимать кровавый, угрожающий оттенок, а человек в балахоне сложил руки на груди, будто удерживая себя от чего-то. – Но для вас, так и быть, сделаю исключение: я больше ничего не знаю.

И он рассмеялся холодным смехом, который еще долго звучал вслед нам, напуганным, выскакивавшим друг за другом на оживленный проспект к равнодушным, но не таким страшным людям. Нет, тысячу раз неправы те, кто считает, что равнодушные хуже всего. Они просто не знают, что может быть хуже равнодушия – намного, намного хуже.

И мы не хотели знать.

– Нравитесь вы мне, – смеялся за нашими спинами хозяин сопутки. – Нравитесь!

Супермассивный холл

После такого, конечно, мы не сразу смогли успокоиться. Евпатория ворчала и занудничала, что она проголодалась, а никому в целой Башне до этого не было дела. Никто из нас понятия не имел, где здесь едят – само собой, за зеркальными стенами вряд ли оказалось бы что-нибудь вроде родного всем нам огородика, а вот магазин, считал я, вполне мог бы встретиться. Места, в которых мы побывали, походили отдаленно на наш магазин в Севастополе, куда я ходил по просьбе мамы с папой, но казалось странным то, что ни в одном из них не брали денег – да и вообще не заводили разговоры о деньгах. Ну, допустим, наши севастопольские бумажки были здесь бесполезны, но в такой гигантской замкнутой системе, как Башня, должен как-то регулироваться обмен материальными ценностями? Или здесь об этом забыли, изжили, придумали систему совершенней? Но что это могло быть?

В итоге мы нашли еду. Как? Этот вопрос все чаще оставался без ответа – я не понимал, *как* мы что-то находим, раз за разом попадая именно туда, куда нам нужно. Предположение было одно – пока мы так мало узнали о Башне, вряд ли могли считать себя ее полноценными жителями. Скорее, мы были гостями – слепыми, малоразумными, которых Башня вела за руку, показывала, рассказывала о себе. Но в этой догадке было что-то неприятное: получалось, что сама Башня – это некое разумное, живое существо; и, находясь внутри нее, я представлял, как этот организм, однажды поглотив меня, теперь медленно растворяет. Конечно, это была лишь фантазия, и вполне возможно, что она разыгралась от голода: как и все, я давно уже хотел поесть.

Кто знает, сколько бы мы искали здесь, чем поживиться, заглядывая в каждый проем, но после знакомства с спуткой и ее странным хранителем желание исследовать зазеркальные залы покинуло нас. Мы вяло перебрасывались впечатлениями, как легким мячом возле берега Левого моря, но потом сообщая, не сговариваясь, решили о них забыть. Наши лампы были надежно спрятаны, так что этот поход был не зря. А остальное...

– Башня такая Башня, – подвела короткий итог Керчь, и мы все с ней согласились.

Я помню свое изумление, когда увидел, что зеркальная стена вдруг закончилась и нам открылся просторный зал, по площади превосходивший все, которые здесь доводилось видеть. Он не был огражден стеной, на входе не висело тканей, лишь несколько столбиков с датчиками стояли в ряд, сигнализируя о приближении чокнутых колесистов. Еще не успев понять толком, что представляет собой этот зал, я поразился своей внезапной догадке: зал открылся нам сразу же, как только мы закончили все разговоры о спутке. Словно настал следующий этап нашего путешествия – но настал не сам по себе, а лишь когда прежний полностью исчерпал себя. Обсуждай мы спутку дальше, или реши вдруг вернуться в нее, или просто остановись, мы не увидели бы этот зал. Мы могли бы долго идти вперед, а справа все продолжалась бы та же стена, и мы отражались бы в ней. И зал вполне мог оказаться совсем в другом месте, но ничего не изменилось бы ни для нас, ни для Башни: одна история закончилась, и началась другая – похоже, этот принцип неизменен здесь. Но как непривычно ощущать его, в буквальном смысле видеть – как будто на твоих глазах перелистывалась страница книжки, одной из тех, что так любила Керчь.

– Ну наконец-то какая-то жизнь, – радостно воскликнул Инкерман. – Движуха!

– Столько жизни не бывает, – философски ответила Керчь. – Но мы ведь уже пришли к выводу, что здесь все искусственно... Похоже, перед нами – квинтэссенция искусственности. А заодно и безвкусицы.

– Керчь, ну ты что, – устало оборвала ее Фе.

– Я туда не пойду, – решительно ответила Керчь.

– Да ты что, дура! – не выдержала Евпатория. – Там же жрут! Жрут!

Я не принимал участия в разговоре, но уже видел, что в зале довольно много мест, где люди сидели за столиками и поглощали странную пищу. Я не мог разобраться, что они ели, но выглядели очень довольными. Окинув взглядом зал, вернее, часть зала, близкую к нам, потому как сам зал был огромен, я заметил, что весь он разделен на зоны. Правда, между зонами совсем не было стен или перегородок, даже свободного пространства, но все же зоны четко разделялись, как и разделялось то, что в них происходило.

Удивительно, но такой эффект достигался всего лишь подсветкой. С высокого потолка на зоны зала спускались столпы света – не такого густого, как в сопутке, но вполне достаточного, чтобы обозначить четкие границы. Самой интимной казалась фиолетовая зона в дальнем углу: люди там сидели парами или в одиночку, мало ели, были неторопливы. В оранжевой и желтой зонах толпился народ, в основном молодые, там было шумно. Было и несколько неподсвеченных зон, но подсвеченные окружали их со всех сторон. В каких-то люди танцевали, в каких-то прыгали, в каких-то сидели и слушали выступления других.

Но мы, конечно, хотели есть. Евпатория была права: игнорировать такую возможность недопустимо.

– Принесите мне чего-нибудь сюда, – капризно попросила Керчь.

– Ну не занудничай ты, – резко сказал Инкерман и схватил ее за рукав. Я промолчал: все эти капризы мне начинали надоедать; в конце концов, избранные мы или нет? А если ты избранный, можешь ли говорить «не хочу»? Можешь ли не хотеть?

Мы выбрали светло-зеленую зону. С потолка струился очень мягкий, почти что незаметный свет, который слегка окрашивал наши лица и еду, которая тут же появилась на столе, не успели мы присесть. Ее поставил на широкий деревянный стол молчаливый человек низенького роста в зеленом халатике и смешной кепчонке с изображением, похожим на луковицу, из которой росли несколько стебельков.

– Интересно бы знать, откуда у них здесь дерево? – задумался я, ощупывая стол.

– А мне интересно, откуда такая еда? – спросил Инкерман. Он приподнял свою тарелку на уровень глаз и теперь с удивлением разглядывал то, что на ней лежало. Фе и Керчь тоже тарасились в свои тарелки, и лишь Евпатория, громко чавкая, уже уминала свою порцию.

– Вкусно, ребят! – Она подняла вверх большой палец свободной руки. – Не по-севастопольски вкусно!

Точно она сказала. Но именно то, что ее так радовало, и напрягло меня. В Севастополе мы ели большей частью то, что вырастили сами. В магазине можно было купить свежий хлеб, но за ним ходили самые ленивые из нас, кто не хотел или не успевал печь дома. Те же, кто пек его на продажу, просто любили хлеб, любили радость горожан, которые приобретали этот пышущий жаром, мягкий, пахнущий свежестью круг или кирпич из теста, щупали его в руках, нюхали, пробовали на вкус прожаренную корочку. Что еще там можно было взять? Готовые салаты, мясо, соки из натуральных фруктов – но все это, если не лениться, можно было сделать самостоятельно. Встречалось что-то выловленное из моря – маленькие крабики, креветки. Я никогда не ел их, мне было жаль, ведь, купаясь, я видел их живыми. И птиц и свиней тоже не резал – все это изредка делал папа, а я любил фрукты и овощи, теплый хлеб, свежее молоко и лишь иногда ел мясо – просто для того, чтобы недалекие не считали напрасными ни свои труды, ни свои жизни.

Когда я увидел, что лежало в тарелке, даже не сразу понял, что это еда. Длинная черствая лепешка темно-серого цвета лишь с виду напоминала севастопольский хлеб, но, конечно, и близко им не была. На лепешке лежала продолговатая бледно-розовая котлетка: в городе мне доводилось есть настоящие, полные мяса, зелени и приправ котлеты с хрустящей мясной корочкой – повторяю, я не был мясоедом в чистом виде, но котлеты любил и всегда знал: продукт, который мне предлагали, который ели все люди, весь город вокруг, был натуральным. То, что лежало на лепешке, производило другое впечатление – спрессованных отходов, суб-

продуктов, скорее походивших на стружку и бумагу, чем на что-то мясное. Сверху все это было полито жидкостями разных цветов, а завершал композицию лист капусты, и он, пожалуй, был самым омерзительным в этом блюде. У нас никогда не было такой капусты. Лист выглядел так, словно из него выкачали все питательные соки и оставили лишь тонкую, болезненно бледную оболочку – он больше походил на лист бумаги.

– Откуда они берут эту еду? – поразился я. – Где делают?

– Это восхитительно, – сказала Евпатория, уплетая тот самый капустный лист. Я поморщился.

– Тори, – начал я. – Тебе это нравится лишь потому, что в Севастополе такого нет. Тебе понравится все что угодно, лишь бы не севастопольское и не по-севастопольски!

– Ну а если и так? – кивнула Тори. – Зачем мы здесь? Чтобы удивляться. Чтобы вкушать новое! В том числе и еду. Расслабься. Это же увлекательно!

– Зачем мы здесь – вопрос спорный, – вступила в разговор Феодосия. – Но еда и вправду нормальная, попробуй.

– Что-то ты ворчливый стал, все тебе не нравится, – поддержал ее Инкер. – Наслаждайся!

Он поднес ко рту странную кружку, сделанную как будто из картона. Удивительно, что она не размокает и не разваливается в его руках, подумал я.

– Да вы что, сговорились, что ли... – начал было я, а затем подумал: что ж, и вправду, из всей компании я стал самым осторожным, самым недоверчивым. В городе все было наоборот. Если в Башне принято есть такую еду, что ж, настала пора попробовать. Я улыбнулся и откусил.

Сказать, что еда меня поразила, конечно, было нельзя. Но лепешка оказалась мягкой, вкус был сладковатым и насыщенным, а то, что я от недостатка слов назвал котлеткой, оказалось очень нежным и буквально таяло во рту. Разноцветные густые жидкости, обволакивая язык, создавали во рту – как я определил для себя – вкусовой салют. Впрочем, что такое салют, я не знал, его запускали всегда из-за забора Хранителя Точки сборки, горожане только видели, как в светлом небе разрываются цветастые шары. Что-то подобное происходило и у меня во рту.

Инкерман придвинул ко мне картонную кружку, и я увидел, как шипит и пузырится в ней зеленая вода. Возможно, этот цвет придавало воде освещение сверху, а может, ее как-то окрасили в зеленый цвет. Глотнув этой воды, я ощутил во рту финальный залп салюта и чуть не поперхнулся.

И в этот момент услышал тихий писклявый голос:

– Салют!

Я поднял красное лицо и всмотрелся в подошедшего. Это был все тот же низкорослый человек с луковицей на зеленой майке, по логике Башни – наверное, хозяин зала. Вот только как он узнал?

– Салют, – смешно повторил человек и слегка поклонился. У него было маленькое круглое лицо и узкие глаза. На груди был прикреплен кусок картона, на котором от руки неровными буквами было написано: «Мирный». «Имя», – догадался я.

– Чего он заладил? – спросила непонятно кого Керчь.

– Здесь такая форма приветствия, – ответил Мирный. – В Башне. Вы же избранные, да?

Он задавал вопросы все тем же голосом, не меняя интонации; мы вряд ли интересовали его, он приглашал соблюсти формальность: дать формальный ответ и тем самым – ему возможность продолжить формальную речь.

– Да, мы избранные, – гордо сказал я с набитым ртом, пережевывая большой кусок, и почувствовал прилив удовольствия, удовлетворенности – она растекалась по спине, рукам, ногам, размягчая меня изнутри, я сливался с просторным стулом, на котором сидел, становился с ним единым целым. Захотелось зевнуть. Но я сбросил наваждение и снова ответил, еще увереннее: – Мы – избранные. Это не видно?

– Мы все здесь избранные, – ответил низкорослый. – Но вы здесь недавно, и я расскажу вам, как устроен Супермассивный холл.

– Что, простите? – едва не поперхнулся я. Человек начинал вызывать раздражение, хотя он и не делал ничего плохого. Но само то, что он стоит над душой, чего-то хочет от меня, а преподносит это так, будто бы я сам хочу, чтобы он стоял рядом и бесконечно говорил, говорил в ухо казавшиеся бессмысленными слова, не давая расслабиться, – все это ощутимо бесило. Чувство было новым для меня, но настолько сильным, что показалось, будто я испытывал его полжизни, да и вообще, полжизни провел, развалившись, как каракатица, в кресле, перед полным жратвы столом.

Керчь придвинулась ко мне и прошептала на ухо:

– Это что-то из забытых языковых форм. Неиспользуемых. Я читала...

– Отчасти это так, – кивнул Мирный, которого, похоже, ничуть не смутил тот факт, что он подслушал чужой разговор. – Мы взяли свое название из архаики. Оно образовано от слов Supermassive и Hole, в ветхих мирах, о которых мы ничего не знаем и не узнаем, так назывались самые прекрасные места. «Салют» принимает вашу благодарность за то, что он выбрал вас. Но наша зона не единственная здесь. Я расскажу...

Тут не выдержала Евпатория.

– Какую благодарность? – воскликнула она. – Кто нас выбрал? Что за чушь вы несете? Лучше уберите пустую посуду – посмотрите, сколько здесь крошек.

Мы посмотрели на нее с укоризной – все-таки не стоило здесь с кем-то ссориться. Но по существу, конечно, поддержали. Однако низкорослый никак не отреагировал на эмоциональную речь Тори и продолжил:

– Супермассивный холл – одно из Главных Средоточий Расслабона на этом уровне Башни. Сюда стекаются из всех ее углов, чтобы кайфануть и релакснуть, сказать «прощай» хандре и открыть свои чакры свету. А свет здесь найдется любой – и на неприхотливого, и на самого взыскательного резидента. Но это не все, у каждого света десятки различных оттенков, и все они представлены здесь, в Супермассивном холле.

Я не понимал и половины слов, которые произносил низкорослый, но меня поразили контраст их содержания – а по всей видимости, Супермассивный холл предполагал что-то веселое – и внешнего вида говорившего: человек выглядел несчастным, замученным, в его писклявом голосе если и слышались какие-то эмоции, то это была отнюдь не радость.

– В Супермассивном холле вас ждет центр игр и развлечений. Вы можете участвовать в конкурсах красоты, мастерства, вдыхать лучшие пары и поглощать прекраснейшие жидкости, как популярные по всей нашей высокой и необъятной Башне, так и эксклюзивные, достойные настоящих избранных истин... то есть истинных избранных. Легендарные клубы «Севмаф», «Аэроболик», Зал Бесконечных просмотров «Величие избранных – Моя гармония» и, конечно, инновационное Колесо Событий открыты в ожидании дорогих гостей. Прекрасные красавицы для тех, кто одинок, и страстные красавцы для тех, кто одинока, а в отдельных зонах и для тех, кто одинок... Впрочем, – Мирный натужно подмигнул, – мне кажется, вашей компании одиночество не грозит. А для тех, кто предпочитает самый горячий пар, – наша секретная-всемусветная знаменитая во всех уголках уровня Сосауна.

– Нет, нам туда точно не надо, – фыркнула Керчь.

– Наверное, еще хуже, чем сопутка, – предположила Феодосия. – Хотя что может быть хуже?

– Сопутка не башнеугодное развлечение, – мгновенно отреагировал Мирный. – В Супермассивном холле она не пользуется популярностью, да и вообще – советую о ней поменьше вспоминать. – Он наклонился и перешел на шепот: – Пережитки прошедшего, все никак не отомрут.

– Разве в Башне что-то запрещается? – удивился я.

– О нет, – поспешил заверить, не меняя тона, низкорослый. – Запрещается – нет. Но популярностью не пользуется. Надеюсь, вы понимаете: это куда серьезнее каких-то дурацких запретов. Так что насчет Сосауны?

– Инстинкты подсказывают, что нет, – твердо ответила Евпатория.

– Инстинкты самосохранения, – добавила Фе.

– Что ж, это выбор Башни, благодарность за который она смиренно от вас принимает. – Низкорослый развел руками. – Но помните: Супермассивный холл – это царство инстинктов, а самосохранение из них не самый главный. Не самый продуктивный и, чего уж там, не самый приятный. С ним лучше всего было остаться внизу. – Он снова подмигнул, но как-то совсем неживо, страдальчески.

– Мне кажется, ты бы сам с радостью остался внизу, – не выдержал Инкер. – И не плел бы нам всю эту чушь.

Но Мирный явно придерживался политики нереагирования. Он широко улыбнулся и ответил:

– Желаю вам инстинктивного отдыха! Будьте рады снова зайти в «Салют», Башня примет вашу благодарность с радостью.

– По-моему, он какой-то больной. – Когда мы наконец расстались с человеком в кепочке, Евпатория долго не могла остановиться, высказывая все, что о нем думает. – Надеюсь, здесь не все такие.

Мне было все равно. Раз уж мы попали в зал, где нужно было расслабляться, стоило к этому скорее приступить. Но глаза разбегались, хотелось узнать в этом огромном холле все, охватить его, насколько это было возможным, не упустить чего-то такого, что ни в коем случае не стоило упускать компании молодых избранных, дорвавшихся до свободы.

– Забудем о нем, – сказал я. И мы о нем действительно забыли.

Преображариум

Зоны сменялись перед нашими глазами, справа и слева, впереди и позади нас. Струи цветов изливались на наши головы, фонтаны били из-под ног, в глазах сумасшедшими пятнами плясали оттенки, сливалось в один фон то, что казалось несочетаемым. Глядя на все это, я решил для себя, что мы попали в мир бесконечного мельтешения, где стоило немалого труда остановиться, сфокусироваться на чем-то одном.

Чего мы только не видели: медленные плавные движения, дивные одежды, томные вздохи и взмахи рук, раскатистый громкий смех странных людей вокруг, которые вдыхали пожары из длинных и толстых трубочек и изрыгали пламя сами, которые прыгали, взлетали под потолок, обвязанные тонкими нитями, и лезли по крепким стенам, которые курили, ели, пили, хохотали и даже совокуплялись... Последнего мы не могли видеть так отчетливо – одни лишь ноги или силуэты, очертания: густой белый цвет скрывал этих людей, а в некоторых случаях и голубой; правда, в голубом свете я совсем не видел женских силуэтов, но что там происходило – мне не хотелось знать. Повсюду сверкали яркие картинки, гигантские буквы складывались в непонятные, ничего не значившие слова: BOO HULL, «Закатим перий», «Генная инженерия», «Крайний раз – и краном в глаз». Мы прошли сквозь десятки цветов, и то Евпатория, то Инкерман задерживались в каждой и кричали «Вау!» или «Е-е-е-е!», и я подумал еще: как они быстро осваиваются в Башне, привыкают к ней.

Я был поспокойнее, не говоря уж о Фе и Керчи, но то, что происходило вокруг, впечатляло. Чего и говорить! Нас подмывало остаться почти что в каждой новой зоне, но всякий раз казалось, что это не предел, что мы вот-вот увидим нечто совсем невообразимое, фантастическое, крышесносящее, отчего сойдем с ума и вот там-то – там-то уж наверняка задержимся.

Но вместо этого мы вдруг попали в прозрачное пространство, где с потолка не лилось никакого света. Мы слышали приглушенный гул из соседних зон, но он звучал так, словно бы мы находились на дне моря и прислушивались к тому, что творилось на берегу. В нашей же зоне царила полная тишина. Происходящее здесь – хотя вернее было бы сказать, что здесь ничего не происходило – казалось очень удивительным после всего, что мы увидели в Супермассивном холле. Это был очень странный эффект, вспоминать который мне удивительно и теперь: мы стояли, пятеро избранных, а выглядели как потерянные – в просторном широком зале, окруженном со всех сторон разноцветными косыми стенами. Здесь было... как-то стерильно, что ли. Как в кабинетах наших немногих севастопольских учреждений.

– Что здесь? – робко спросил я.

Сказать, что зал этот как-то оформлен, в принципе было нельзя. В нем не было ничего, что можно было оформить – даже стен как таковых не было. Но вдалеке мы разглядели высокий белый стол с изогнутыми стульями на тоненьких ножках из металла, и там, за столом, сидела девушка. А рядом находился совсем уж странный предмет, похожий на холодильник – в доме каждого севастопольца они были примерно одинаковы, и спутать их с чем-то было довольно сложно. Удивительно было и то, что эти предметы стояли так далеко, что до них, нам казалось, идти и идти. Но вдруг случилось невероятное: перед нами возникла та самая девушка в полностью белом костюме. Я мог протянуть руку и пощупать ее – но, конечно, не стал этого делать. А может, и зря: она походила на призрака, одного из тех, которыми страшат маленьких людей, едва-едва вышедших в мир.

Ее лицо было обычным, даже простым – миловидная, но мало ли таких! Зато в остальном... Все жесты девушки были настолько плавны, что казались просто невообразимыми. Да и сама она, воздушная, будто собранная из белых салфеток – живут ведь умельцы, способные и на такое! – была невозможна. Я видел в жизни мало предметов или явлений, с которыми мог бы сравнить ее, от которых образовать сравнение: мои знания были достаточны для той жизни,

которую я вел в Севастополе, но их катастрофически не хватало для встреч с такими девушками. Вообразить ее шагающей по нашим улицам, сажающей овощи, курящей у стен Башни куст... да саму мысль о том, чтобы вообразить все это – и ту я не мог вообразить.

Я приоткрыл было рот, но Феодосия приложила ладонь к моим губам. Тори с неприязнью посмотрела на нее.

– Здравствуйте, – зашебетала девушка. – Меня зовут Ливадия. Можете ли вы нам чем-нибудь помочь?

– В смысле? – сказал Инкерман. – Вам требуется помощь?

Даже он стал предельно серьезным здесь, не проявлял никаких эмоций.

– Согласно правилам Супермассивного холла, чтобы все происходящее вокруг не казалось бессмысленным, мы принимаем условное допущение, что нам требуется помощь, а вы приходите нам ее оказывать, – ответила девушка.

– Пожалуй, она им нужна, – вздохнула Евпатория, обращаясь ко всей компании. – Это самый тоскливый зал, который я здесь встретила.

– Это до поры, – сказала Ливадия, и я отметил, что при всей красоте и невообразимости ее голос чем-то напоминал того низкорослого человека с рисованной луковицей возле сердца – Мирного. Нет, не писклявостью. Механичностью, что ли? Меланхоличностью? И механичностью, и меланхоличностью сразу? Было сложно определиться. Тем более она снова переключила внимание:

– Обратите внимание на аппарат.

– Вот тот, вдалеке? – скептически оценила Феодосия. – У нас таких полгорода.

– У вас – это здесь, – поправила девушка, и от ее слов по спине пробежал холодок. – А он здесь такой один.

В ее речи появилась нотка гордости – случайно ли? Ее ли это эмоция? Или неведомые мне правила предписывали сказать определенные слова с определенной интонацией?

– Но для начала вам нужно надеть вот это. – Ливадия протянула руку, указывая на белый стол, и – о чудо! – он оказался совсем рядом с нами, как будто и стоял здесь постоянно, на расстоянии вытянутой руки.

– Как вы это делаете? – изумился я.

– Что? – Девушка вскинула брови, посмотрела на меня выразительным, но непонимающим взглядом.

– Вы действительно не понимаете?

– Нет, – ответила она мягко. – Кажется, не понимаете вы. Но совсем скоро поймете!

Она сделала шаг к столу, и я увидел, что там лежат обыкновенные солнцезащитные очки – какие любила носить Евпатория. Только у нашей подруги очки были, пожалуй, вычурнее, эти смотрелись совсем неприметно. Но главное было в другом.

– Почему их только три? – спросил я. – Нас же пятеро.

– А, так значит, кто-то все-таки не избранный? – встрял Инкерман. – Я подозревал.

– Успокойтесь, избранные все, – ответила Ливадия. – Но эти очки – только для ваших девушек. Ведь вы пришли в Салон преображения в Супермассивном холле. – Она повернулась к девушкам и улыбнулась. – Пора преображаться!

Но Евпатория уже безо всякого предложения схватила очки. Повертев в руках, она нацепила их и тут же вскрикнула:

– Вот это да! Фи, это невероятно! Этого не может быть! Керчь, Феодосия, попробуйте скорее!

Она двигала руками, словно пытаясь кого-то поймать, и вела себя как слепая, хотя я мог видеть ее глаза через темное стекло очков.

– Осторожнее, – предупредила девушка и поддержала Евпаторию, когда та чуть не падала. Керчь надела очки, но ее реакция была куда спокойнее. Она лишь походила взад-вперед, сняла, надела их снова. Феодосия тоже была сдержана, но улыбалась от удовольствия.

– Фи, иди сюда! – произнесла она, хотя я был совсем рядом. – Какая красота!

Она протянула очки. Я надел их и вдруг увидел все вокруг: стены, нашу компанию, Ливадию, стол и стулья, похожий на холодильник предмет, в ярком розовом цвете. Причем в этом розовом воздухе я видел вспышки света, словно кто-то ловил кусочком стекла лучи солнца. В воздухе этого зала постоянно что-то сверкало, казалось, что сам он искрится, как наэлектризованный, но от этого не было страшно, наоборот – это завораживало.

Странно, думал я: очередная загадка Башни! Ведь само стекло не было розовым, и даже оправа очков была темно-коричневой. Но самым удивительным представлялось то, что сквозь очки я видел в воздухе бабочек! И это были настоящие, живые бабочки, не рисованные, не игрушечные, не поддельные. Вот почему Евпатория делала такие странные движения – она пыталась поймать их, а Керчь, наоборот, уворачивалась, и теперь я видел, от чего: бабочки пытались сесть ей на нос, на плечи, на голову. То, что нравилось двум другим моим подругам, ее, похоже, раздражало. Да и меня тоже – я стал отмахиваться от назойливых насекомых, прогонять их.

В Севастополе, конечно, тоже были бабочки, но я встречал их очень редко, и они не были такими пестрыми, разноцветными, как будто четко, до мельчайших деталей прорисованными. «Интересно, как достигается этот эффект? – задумался я и тут же вспомнил о мелодорожках. – Что, неужели опять? И здесь?»

Инкер, кажется, выклянчил очки у Евпатории – и теперь веселился, хохотал, размахивал руками и издавал забавные звуки.

– Почему у нас с Фи таких нет? – спросил он Ливадию.

Она пожала плечами и простодушно ответила:

– Вы, мужчины, и так постоянно в них.

Я не хотел вступать в споры. Свою порцию веселья в розовом царстве бабочек я получил, представление о нем имел. Пора было вернуть очки Тори – вот кому там по-настоящему нравилось. Едва я распрощался с ними, как заметил, что стою возле самого «холодильника». Издалека аппарат казался меньше, но, очутившись рядом с ним, я увидел, что тот выше человеческого роста и шире меня раза в два. Но в нем и вправду была дверца, а значит, самое интересное находилось внутри.

Ливадия приняла серьезный вид и несколько раз кашлянула, не зная, как привлечь к себе внимание иначе. Похоже, она захотела, чтобы и мы все отнеслись к таинственному ящику со всей, на какую были способны, серьезностью.

– То, что вы примерили очки, – лишь небольшой подарок Башне от нашего салона и от вас, – в свойственной всем здесь витиеватой манере начала девушка.

– Простите, – прервал ее Инкер, с сожалением снимая очки. – А что означает «салон»?

– Хороший вопрос, – поддержала Тори. – В Севастополе ведь нет салонов. Да что там вообще есть!

– То, что их нет, не означает, что мы не знаем, – возразила Керчь. – Вот я, например, читала... Да и вообще, не оскорбляйте наши интеллектуальные способности разъяснением этого простого термина.

– Тем лучше. – Девушка уцепилась за эту последнюю фразу и снова показала на аппарат, а я укоризненно глянул на Керчь, которую распирало от гордости за свои познания – далеко ведь не факт, что правильные. Откуда она их черпала? Из сказок? Из того, чего не было в прошлом и вряд ли случится в будущем? Из чьих-то других голов, таких же несведущих, как и все мы. Знание нужно распространять, даже если оно кажется очевидным: будучи уделом избранных, оно обречено на забвение и непонимание.

– Обратите внимание на то, что перед вами, – Ливадия снова сменила голос, на этот раз на торжественный. – Это Преображариум. Наш салон – это и есть он.

– И что же, – неуверенно отозвался я, показывая на дверцу, – туда нужно войти?

– Не беспокойтесь, – ласково ответила девушка. – Вам не нужно. Впрочем, если захотите – никто не будет против.

– И куда мы попадем? – спросила Тори.

– О, вы попадете в мир восхищенных взглядов! Попадете в мир улыбок, обращенных к вам людьми, идущими навстречу. В мир позитивной волны и всегда отличного настроения. В мир удовольствия от осознания собственного совершенства, гармонии и полной удовлетворенности собой. Не волнуйтесь. – Ливадия протянула руку. – Вам это понравится.

– Мне уже нравится, – восхищенно отозвалась Тори.

– Только вход с другой стороны. – Девушка заботливо проводила нашу подругу к такой же дверце, которая находилась с другой стороны аппарата. Тори зашла в него, и Ливадия закрыла за ней дверь.

– Теперь нажмем несколько кнопочек. – Она почему-то считала нужным рассказывать о каждом своем действии. Аппарат завибрировал, словно готовый сорваться с места и куда-нибудь укатить, и я заметил, как от него начало исходить сияние. Оно все усиливалось, и мы испугались, не взорвется ли аппарат или не исчезнет, переместившись в какое-то неведомое измерение, но тут передняя дверь распахнулась, и из аппарата вырвались клубы густого холодного пара.

«А вдруг и вправду холодильник? – тревожно подумал я. – Заморозили – вот и все преображение».

Но не успел толком испугаться, как из Преображариума вышла Тори. Точнее, это была женщина, в которой мы с трудом узнали нашу подругу. На ней было яркое и просторное красное платье с золотистым поясом. Грудь девушки стала больше – размера на два, оценил я – и ее подчеркивал откровенный глубокий вырез. На ногах были маленькие черные босоножки с веревками вокруг лодыжки, перевязанными крест-накрест – я прежде не видел такой дивной обуви! Каждый пальчик был выкрашен в розовый цвет, и лишь безымянные на ноге – в салатовый, чем-то похожий на цвет формы маленького человека из «Салюта». На безымянном пальчике левой ноги красовался золотистый перстень.

– Ну, как я тебе? – Остолбенев от ее преображения, я не сразу заметил, что Тори направляется в мою сторону. – Нравлюсь?

Я сглотнул слюну. Евпатория, конечно, была обворожительна. Она стала выше меня ростом – хотя каблук босоножек были совсем невысокими – и теперь смотрела сверху вниз. Ее губы стали плотнее, толще, словно в них залили неведомого мне вещества: я не встречал таких губ у скромных севастопольских девушек и подозревал, что с ними нельзя родиться. Когда Тори сжимала их, умиляясь тем, как я шокирован ее преображением, они напоминали клювики птицы – я не мог вспомнить какой: мы таких не разводили, а вот в соседних дворах, бывало, встречал. Мясо этих птиц было невкусным, вот и не держали.

– Детка, покажись-ка, – беспомощно лепетал Инкерман. Судьба несправедлива к этому доброму парню, подумал я: ведь он один, и Тори одна, и она мне не нравится, даже такая. Нет, конечно, теперь не восхититься ей было сложно, и мое сердце забилося, едва красавица приблизилась. Но ведь это была все та же Тори. Я сомневался, что «холодильник» был способен преобразовать изнутри – нас самих, а не только наши тела.

Евпатория погладила меня по щеке, и я отметил, какими холеными стали руки: нежная кожа, длинные ногти со вставленными в них невероятным образом сверкающими камушками, броские браслеты на запястьях. Она улыбалась мне, пытаясь уловить мельчайшие движения моей души – изменилось ли что? впечатлен ли я? что я сделаю? – но даже не предполагала, о чем же на самом деле были мои мысли.

А думал я вот о чем: даже если допустить шальную мысль, что Ялта обманула нас и где-то в Башне есть лифт, ведущий вниз, в Севастополь, – даже тогда Евпатории больше нет дороги назад, домой. Жительница Башни, плоть от плоти – как она теперь назовет себя?

– Мне кажется, ты стала старше, – хмыкнула Керчь.

– Завидуй молча, – немедленно огрызнулась Тори.

Я с тревогой посмотрел на Фе.

– Ты тоже отправишься туда?

– Пожалуй, – ответила Феодосия. – Наверное, так будет честно.

Я не совсем понял, о какой честности сказала Фе. Передо мной, перед собой, Евпаторией, Башней? Если она хотела стать такой же – это скорее глупость, чем честность. Впрочем, я знал: глупость Фе не свойственна, знал и другое – она всегда поступает так, как считает нужным, разубеждать ее – дело пустое.

Но все же я волновался. Мое тело подрагивало, пока Ливадия нажимала кнопки, пока вибрировал аппарат, я то чесал ухо, то скрещивал руки на груди, то зажмуривался, словно в страхе, что Фе не выйдет, застрянет в аппарате. Да мало ли что могло случиться! Но меня отвлекла – как обычно – Тори. Она тронула за плечо Ливадию и задала неожиданный вопрос.

– Выходит, вы делаете всех красивыми? – спросила Тори и тут же поправилась: – Хотя мы и до вас были ничего, правда, девочки?

– Да, именно в этом и есть задача салона, – откликнулась девушка.

– Тогда почему же вы некрасивая? – продолжила Тори со свойственной ей прямоотой. Мне казалось, случится страшное – еще бы, сказать такое девушке! – но Ливадия изобразила легкую улыбку и ответила буднично, словно этот вопрос звучал здесь, в этих условных стенах, регулярно:

– Это иллюзия, – сказала она. – Поддерживать ее – одна из моих первейших задач. Перед началом работы я сама захожу в салон, и после, возвращаясь в свое село, тоже. Я делаю себя такой на тот период, что встречаю здесь вас и других посетителей.

– Но зачем? – изумилась Евпатория.

– Чтобы поддерживать иллюзию, – Ливадия развела руками: неужели, мол, непонятно. – Некрасивые оказывают услугу красивым.

В этот момент распахнулась дверь, и я с тревогой подошел к облаку пара. Лицо обожгло холодом.

– Феодосия, – крикнул я, желая скорее увидеть подругу. Она появилась, буквально выпав из аппарата в мои объятия. И, казалось, была без сил.

– Становиться красивой – это тяжело, – прошептала она. Я хотел было ответить какую-то благоглупость, что она, мол, и так всегда была красивой, без всяких салонов, но тут заметил, как она переменилась.

Длинные волосы поменяли цвет: теперь она была черноволосой, с короткой стрижкой – волосы едва доходили до шеи и завивались, аккуратный пробор делил прическу на две равные части. В ушах были маленькие неприметные серьги – их носили и у нас в городе, но всегда безыскусные, похожие друг на друга: вставил кольцо в ухо – вот и все украшение. В ушах Феодосии были изящные маленькие пуговицы благородного серебряного цвета. Ее лицо не было раскрашено, а губы совсем не изменились, разве что стали еще чувственнее – но, наверное, это от того, что она отогревалась.

На Фе было черное платье до колен, а шею украшала серебряная подвеска на цепочке – она изображала парящую птицу с поднятым вверх большим крылом. На руке – один браслет, такого же цвета; и черные туфельки с маленьким каблукчиком на ножках.

Вспоминаю: не упустил ли чего? Нет, вроде. Если бы меня спросили, какой она вышла из аппарата, в голову пришло бы только одно слово – *неотразимой*. Но меня никто не спрашивал – все это видели.

– Керчь? – вопросительно вскинула брови Тори, лишь бы отвлечь внимание от Фе, которая уже, кажется, приходила в себя.

– А вы считаете, мне туда нужно? – с вызовом ответила Керчь в своих неизменных брюках и теплом бесформенном свитере с огромным горлом.

– Нет, мы же в очках, – рассмеялся Инкер и показал большой палец. Хотя в очках уже был только он. – Сними бабочку с плеча! – крикнул он Керчи.

Я усмехнулся, глядя на него: вот кто был точно доволен и беззаботен. Ему бы на Левое море, лечь и лежать, да бросать комплименты редким нашим севастопольским девочкам, решившим отвлечься от домашних и садовых дел. Но Инкерман смог меня удивить. Он встал между мной и Ливадией и твердо сказал:

– Я хочу преобразиться!

– Инкер, ты чего? – с недоверием спросил я. – Может, не надо?

Но Ливадия, словно не слыша меня, буднично сказала:

– Проходите, пожалуйста, вот сюда.

– Посмотри на Тори, – я схватился, как за соломинку, за последний аргумент, хотя и понимал, что он звучит нелепо. – Хочешь так же?

– Да брось ты, – рассмеялся Инкерман. – Это все предрассудки. Я буду самый красивый, а красота – это сила. – Он скорчил смешную рожу и напомнил мне Никиту, хранителя вотзе-факов. Пусть делает что хочет, решил я; его жизнь – его приключение. Тем более что Феодосия уже совсем пришла в себя и захватила все мое сознание.

– Так вы здесь работаете? – Похоже, ей захотелось донимать девушку.

– Работа в Башне? – откликнулась Ливадия. – Это условно. Как и многое здесь, понимаете? Если не все.

– Но вы сами говорили «работать», – не унималась Феодосия. – К тому же мы слышали это не только от вас.

– Это понятно, – согласилась девушка. – Это что-то объясняет. Но, конечно, не отражает всей сути. В первую очередь мы здесь живем. Ну а во вторую... я, например, занимаюсь вот этим, – она описала неопределенный жест в воздухе, словно стремясь охватить весь салон.

– Но ведь это не работа, – возразила Феодосия. – Здесь нет товаров, нет услуг, нет денег, тяжелого труда. Да и мы все получаем просто так и ничего не даем взамен. А избранные здесь все. Или не так?

Девушка пожалала плечами и изобразила задумчивость, словно не понимала, в чем же проблема, что от нее хотят. Но наконец сказала:

– Есть миссия. На обеспечение этой миссии мы и работаем. Простите, я не могу сказать больше. Я не знаю, что могла бы еще сказать.

Она кусала губы, качала головой, зажмурилась – в общем, ощутимо нервничала. Я чуть заметно толкнул Феодосию: *прекращай*.

– Но выходит, что миссия есть не у всех? – наседала Фе.

– Изначально она есть у всех, – ответила девушка. – Но в процессе отказов, потерь, выборов... иных ситуаций она теряется.

– Иных ситуаций? Каких?

Но девушка не стала отвечать. Она с тревогой смотрела на «холодильник»: когда уже дверь откроется и появится наш друг. Разговор ей был явно не по душе.

– В результате здесь многие живут без миссий, – наконец произнесла она. – Но есть севастополист, вам объясняли...

Фе кивнула.

– Севастополист всегда доходит. Но никто не знает, кто он, где он... Как его узнать. Не знает и он сам. Но здесь все работает на него, вся Башня. Все существует из-за него. Но мы не знаем. Может быть, кто-то из вас – он. Может быть...

В этот момент из аппарата вывалился – иначе и не скажешь – Инкерман. Он шатался, словно только что выкурил добрую порцию сухого куста, но всю улыбался и, кажется, был счастлив.

– Что скажете? – спросил он заплетающимся языком.

Его кожа потемнела, словно он вышел не из «холодильника», а из жаровни, на ногах была тряпичная идеально чистая обувь с разными непонятными рисунками, полосками, геометрическими фигурами, неизвестными, а скорее всего, и несуществующими буквами. Причем надета эта странная обувь была прямо поверх ноги, без носков. Ноги Инкера были гладкими, словно и никогда не росли на них длинные, торчащие в разные стороны грубые мужские волосы. Безразмерные шорты сползали с пояса, свободно болтаясь на нем, на рубашке с коротким рукавом красовалось море, но не наше Левое, а какое-то дивное, несуществующее море, простиравшееся в бесконечность. Силуэты деревьев, скал, берега, летящие низко птицы – все это было на рубашке Инкера, как на сказочном полотне мечтателя-рисователя, что вместо неба вечно смотрел в развернутые белые листы.

На голове Инкермана мы увидели панаму с красным пятиконечником – в Севастополе такие носили всегда Левый пляж, ленивцы. Но только без пятиконечников, конечно.

Керчь отошла от шока первой.

– Руки покажи, – сказала она.

Инкер протянул ладонь, и мы увидели идеально гладкие ровные ногти, отточенные, отшлифованные, без заусенцев; длинные чистые пальцы, как будто никогда не знавшие физического труда – хотя все мы знали, что Инкерман, как любой севастополец, следил за своим домом, двором, огородом, а не только курил с нами куст.

– Вы в своем уме вообще? – зло выпалила Керчь. – Вы что здесь делаете, друзья? Ау! Сколько это будет продолжаться?

– Вы так говорите, потому что еще не побывали там, – мягко ответила девушка.

– Знаете что... – Керчь сложила руку в дулю и поднесла к лицу Ливадии, а затем показала всем нам. – Видели, да? Бывайте здесь сами, я уйду.

Керчь зашагала к выходу. Правда, вспоминая, как все было, я не стал бы этого утверждать: ведь выхода из салона не было, а значит, и не к чему было шагать. И при этом выход там был везде. Едва она достигла первой видимой стены, как все вокруг схлопнулось, словно мы находились внутри гигантского мыльного пузыря и вот он внезапно лопнул. Исчезли и стены, а точнее, то, что казалось нам стенами, и сам необъятный «пустырь» зала, и стол с изящными стульями, а главное – исчезла тишина. Она лопнула, как старая банка, и все вокруг охватил шум, хаос, крики, снова вокруг взрывались цвета, рябило, пестрило от их нескончаемого многообразия, какие-то люди сталкивались с нами, мы сталкивались с людьми, и все друг другу говорили бесконечно: извините, извините.

Мое тело куда-то шло, и язык говорил что-то, но в памяти все еще звучал тихий взволнованный голосок Ливадии, вместе с «холодильником» тающей в безумии, которое поглощало ее уютный салон, сжирало ее, отчаянную, вместе с ним: «Может быть, кто-то из вас... Может быть». Я часто вспоминал ее слова потом, они крутились в моей голове снова и снова. И мне казалось, она была настоящей, когда говорила эти слова. Только когда говорила их, и потому – только они были важны, только они имели значение.

– Заберите лампы... – вдогонку кричала она. – Не забудьте лампы...

Но мы не забыли лампы, мы забыли только ее, мы оставили ее там, и я не встречал ее больше, в том будущем, что ждало меня, и я не узнал, что с ней стало, и не узнаю этого.

А значит, не узнаете и вы.

Это не было небо

Но вот то, что происходило потом, я помню очень смутно. Причин тому много: и усталость от бесконечной смены событий, перемещений, разговоров, наконец, собственных мыслей, которые были как радостными, так и тревожными. Но важнее всего было то, что здесь, в Супермассивном холле, все происходящее словно крутилось вокруг меня, но не проникало в мое сознание, не цепляло. Веселье в Севастополе было совсем другим: мы были едины в нем, мы были вместе, оно было простым, доступным, понятным и не содержало внутри никаких смыслов, которые требовалось разгадывать или которые могли нас разделить. Мы были там избранными – но избранными друг другом. А в Супермассивном холле мы прорывались сквозь толпы людей, которые не замечали нас, ничего от нас не хотели и сами занимались непонятно чем. Кем мы были здесь избранны? Ими?

Башня завораживала меня своим масштабом, своей тайной. Но я не понимал, зачем в ней все? Зачем здесь мы? Зачем здесь остальные? И эти бесконечные «зачем» роились в голове, мешая наслаждаться, как делали те же Тори и Инкерман. Но во мне не было и раздражения, которое проснулось, неприятно удивляя меня, в Керчи. Я хотел сохранить в себе здоровый смысл, найти ту грань, где он сливался с удовольствием. Но пока что не находил ни того ни другого.

Кто был един в Супермассивном холле? Разве что те, скрытые белым облаком, из которого торчали ноги. Но можно ли жить только этим? Как теми парами, которыми они дышат, напитками, которые льют в себя? Ведь они же избранные, здесь других нет, говорили нам. Когда веселье льется через край и ему самому нет конца и края – им уже не успеваешь наслаждаться, оно утомляет, начинаешь искать способ, как спрятаться от него.

«Величие избранных – Моя гармония». Так назывался черный зал без освещения, где стояли в несколько рядов высокие мягкие кресла. В нем сидели другие люди, они клали в рот что-то напоминавшее камни и жевали их. Когда вспыхнул экран, на нем вновь появилась Башня – съемки снизу, из Севастополя. Меня охватила грусть, я хотел пробежаться по земле, по Широкоморке, хотел бы запрыгнуть в машину и ехать, ехать до самой линии возврата. Но теперь я сидел здесь и смотрел на экране про то, что здесь же и происходило. Вначале все напоминало то, что показывала внизу Ялта, разве что изображение было цветным, контрастным. Но, посмотрев немного, я понял: в этом фильме не говорили о прошедшем, не говорили о стройке, не говорили об избранных. В нем вообще говорили мало. На экране был Супермассивный холл – те же световые зоны, те же люди, развлечения, дела. Люди, сидевшие рядом со мной, смотрели на зал, из которого только пришли и в который собирались выйти, досмотрев. Они разглядывали самих себя на экране, и это поражало. Я переглядывался с друзьями, и в глазах каждого из нас читалась та же мысль: как странно здесь живут...

Помню, мы не задержались в «Величии». Нашли и «Севмаф», и «Аэроболик», в которые звал маленький человек из «Салюта». Стоит ли вспоминать о них? Не знаю. Это были странные места, и нас там ждали странные удовольствия.

«Аэроболик» был единственной зоной в Супермассивном холле, которую все-таки оградили от посторонних глаз. Посреди шумного веселья и оживленных людских потоков стоял черный куб из металла, напоминавший высотой и прочими габаритами – но только ими – простой севастопольский дом. На крыше куба красовалась непонятная нам надпись

ТРИИНДАХАУС,

а в ближайшей к нам стороне оказался провал. Он был завешен тканью нежно-голубого цвета, которая и приглянулась Евпатории.

– Какая красотища! – восхитилась подруга в свойственной ей манере. Так мы и попали в «Аэроболик».

Собственно, что это именно тот зал, мы поняли вовсе не сразу. Вначале, едва ступив за ткань, я ощутил, что под ногами нет пола и я попросту падаю. Цепляться было уже не за что – слишком широким и бодрым шагом мы вошли в черный куб, – и я полетел в неизвестность. Душа сжалась до размеров маленького камешка и затвердела. Щеки обдавал ледяной воздух, а в голове не осталось совсем никаких мыслей, кроме одной: «Это конец».

Я не думал, как же так случилось, не искал вариантов спасения. Я просто боялся. И, как потом выяснил, так же было со всеми.

Казалось бы, в какую простую и глупую мы угодили ловушку! Вот вам и избранные, может, и севастополист с ними – ну а что? Вдруг? Ведь я не успел ничего понять, ничего увидеть, а уже летел в черную пропасть, чтобы забрызгать мозгами и кровью какие-нибудь стены и полы.

В какой-то момент падение прекратилось. Но мы не разбились – мы вообще не достигли поверхности, а просто повисли в открытом воздухе со странным ощущением, что нас крепко держат невидимые прочные нити. Я мог шевелить конечностями, поворачиваться, но не мог ни уйти, ни убежать с той точки, на которой оказался закреплен неведомой мне силой. Повисев там немного, подпрыгавшись, я понемногу привык. И тогда появилось небо.

Все вокруг стало голубым, и где-то высоко, на недостижимом расстоянии сияло золотое солнце. Над нами и под нами неподвижно, как в Севастополе, висели облака. Я увидел напротив себя Инкермана, а рядом, по правую руку, но на значительном расстоянии – Фе. Евпатория висела в небе напротив нее, на таком же расстоянии от Инкермана.

– Что это все значит? – кричали мы все почти что в унисон. Больше всего не хотелось продолжить падение, мысль о том, что в любой момент оно может возобновиться, не придавала нам уверенности. Но невидимые нити держали крепко, и, пока длилась такая передышка, нужно было выяснить, зачем мы здесь.

– Керчь, может, ты знаешь? – Я поднял голову вверх. Подруга так же болталась, как и все мы, но вот ее расположение казалось слишком странным: если бы нас четверых соединили диагоналями, Керчь оказалась бы ровно в центре, на их пересечении. Только чуть выше, совсем незначительно.

– Ну давай, Керчь, скажи нам, – подхватил Инкерман. – Ты же наверняка читала.

– Твой интеллектуальный уровень не оскорбил этот вопрос? – усмехнулась Фе.

Но едва Керчь открыла рот, чтобы воздать нам всем по заслугам, как прямо над ней, в вышине, вспыхнули буквы. И каждая была соткана из облака. Или из облачного материала, если говорить точнее. Бывает такой материал? Вот и я до сих пор не знаю. Но выглядело все это именно так.

– Aerobolic, – прочитали мы, и надпись тут же растворилась. Раздался громкий и отчетливый мужской голос, который произнес:

– Возьмите ваши аэроболы.

Тут же между двумя парами – мной и Инкером, Тори и Фе – возникли висащие в воздухе красные диски. Издалека они напоминали тарелки, только из какого-то грубого материала. Я не знал, как взять эту тарелку, и лишь беспомощно дергался на невидимых ниточках. Куда умнее поступила Фе: она просто протянула руку, и аэробол сам метнулся к ней.

Я последовал ее примеру.

– Игра начинается, – известил нас голос. – На счет «один» бросайте аэробол. Три, два, один!

Как только он сказал «один», я плавным, но сильным движением руки направил свой диск Инкеру, тот моментально словил и бросил мне. То ли он плохо целился, то ли не рассчитал силы, но аэробол полетел куда-то в сторону, и я изловил его буквально чудом, изогнувшись и прыгнув до самого предела, который только позволяли невидимые нити.

– Эй, марионетки, – смеялась над нами Керчь, хотя сама болталась словно муха в паутине. – Гоните-ка монетки!

Разозлившись на Инкера, я швырнул «монетку» под таким косым углом, что у него просто не было шансов ее словить. Тут же за его спиной загорелась огромная облачная единица, а за моей – ноль. Я хотел отпустить шутку в адрес Инкера, но тут он сильно дернулся, едва не упав, и резко переместился вверх. Выглядело это так, словно он и вправду был куклой, которую передвинула – причем резко и грубо – властная рука недовольного хозяина. И точно таким же способом поместила на его место Керчь.

Вот с кем мне – да что там, нам всем! – пришлось изрядно помучиться. Керчь ловила все аэроболы, что летели в ее сторону, а сама запускала так, что поймать можно было лишь чудом. Все ее противники сменялись по очереди, и сам я не раз провисел над игровым полем, наблюдая за друзьями, но не в силах сдвинуться с места и принять участие в сражениях. Однако и Керчь уставала, на ее месте оказывался кто-то другой – и странная игра продолжалась снова.

Вскоре я и сам сбился со счета. За нашими спинами висели и непрерывно обновлялись цифры: 23, 34, 38, 50. Самое маленькое принадлежало, конечно, Керчи – 8, ну а самое большое? Самое большое было мое. Игра мне определенно не давалась.

В какой-то момент Фе (а мы встретились с ней в паре лишь однажды) крикнула, бросая мне аэробол:

– Береги лампу!

Не понял, зачем она это сказала, но в тот самый миг мне стало страшно. Я совсем забыл, что лампа надежно спрятана в чехле и ремень, обмотанный вокруг пояса, не даст чехлу потеряться. И тогда я увидел свою лампу – запущенная рукой Феодосии, она летела прямо ко мне, разворачиваясь в воздухе то своей утолщенной частью, то тоненькой, с хрупким орлом на конце. Мое тело совсем перестало хоть что-то весить, оно словно исчезло, и я не испытывал, глядя на лампу, ничего, кроме ужаса. Так страшно мне не было ни до, ни после того случая – даже когда летел в пропасть, во мне не было и части того страха.

И лампа застыла в воздухе.

– Фи! – кричала Феодосия, кричал кто-то еще, но я висел как заторможенный, с раскрытыми от ужаса глазами. – Фи! Ты в игре, нет? Лови аэробол, Фи! – И в ушах гудел каждый звук, каждая буква, разбиваясь на бесцельные осколки, и они тоже летели в меня, вонзались в кожу, прорезали путь к сердцу: потерять, не поймать, разбить лампу – это конец! Конец! Застрять на этом уровне, в Супермассивном холле...

– Нет, – кричал я иступленно. – Нет, нет!

Сжав всю волю в кулак, я заставил себя пробудиться, распрямить руку и прыгнуть. Моей руки коснулось что-то холодное и твердое, но это была не лампа. Это был аэробол.

В тот же миг я понял, что нити больше не держат меня в воздухе. Мы снова летели вниз, и голос, оставшийся наверху, словно прощаясь, говорил нам вдогонку:

– Игра окончена. Результаты. Игра окончена. Результаты.

Но какие могли быть результаты, до них ли нам было, когда мы снова падали? Это странно вспоминать, конечно: не подобрать и двух слов, которые бы отражали, что мы чувствовали в течение этого полета. Представьте, что вы падаете в бесконечной пустоте и совсем не знаете, что может случиться с вами, увидите ли вы в своей жизни что-нибудь еще? Как бы вы описали это? Как бы вы описали, что видели вокруг себя? Видели бы вы что-нибудь?

Не видели и мы. Я пришел в себя, лишь когда приземлился, и то не сразу. Невероятным – хотя что в Башне можно было считать невероятным? – образом каждый из нас оказался на длинном стуле с высоченными ножками и такой же, превышающей человеческий рост, спинкой. Слетев с невероятной высоты, мы приземлились точно на них; или это пространство так изогнулось, что под нами оказались стулья? Сидеть на них было неудобно и даже как-то неловко – я казался самому себе ничтожно малым, словно клоп, хотя соотношение масштабов, спра-

ведливости ради, было не таким ужасающим. Я ерзал на стуле, пытаюсь отдышаться и осмотреться. Ни неба, ни солнца над нами уже не было; мы, каждый на своем стуле, оказались будто накрыты черным куполом, который был усеян странными маленькими лампочками-точками. Каждая из них светила холодным идеально белым светом, не распространявшимся далеко. Этот свет был красив, но бесполезен – он не разрывал черноту пространства, нависшего над нами, не прояснял его, а лишь усугублял, подчеркивал его монолитную, неколебимую черноту. Это не было небо, заключил я, потому что небо не могло быть таким. По крайней мере, то, что видел тогда над головой, я никогда бы не смог увидеть в Севастополе.

Но вот то, что было под ногами, – мог. И больше того, видел всегда, с тех пор как вышел в эту жизнь и этот город. Именно он, город, был под моими ногами. Весь, целиком.

– Смотрите, – сказал я приглушенным голосом, хотя хотел крикнуть. Но друзья и так устали вникать.

– Невероятно, – прошептала Фе.

У основания наших стульев, там, где их ножки соприкасались с твердой поверхностью пола, лежал Севастополь – наш родной город. Я видел Широкоморку, видел наши маленькие прямые улочки, подземные входы, ведущие в метро, видел дома – все это было воссоздано из неведомого мне материала, но так походило на настоящее, что у меня захватывало дух. И самое главное – город жил! По нему передвигались крошечные троллейбусики, редкие авто, колыхалось Левое море, в котором барахтались лодочки. Если бы я увидел внизу людей, то, наверное, упал бы, потеряв сознание, со стула, раздавив своим огромным телом целый небольшой район. Но людей в городе не было, ведь он все-таки был ненастоящим.

Помню удивительную подсветку этого микро-Севастополя. Темные, тревожные цвета – под стать нависшему над нами давящему куполу: Точка сборки подсвечивалась красным, все остальные улицы – синим, который загустевал по мере приближения к окраинам и в районе Башни становился фиолетовым, растворявшимся в черноте. Четких границ у города не было, а моря так же плавно уходило в черноту, как и все остальное. Правое было холодно-серебристым, а Левое – бледно-голубым. Я сидел осторожно, боясь пошевелиться, и любовался этой жутковатой красотой.

Как оказалось, Черный куб Трииндахуса – а мы ведь по-прежнему находились внутри него – был наполнен играми, как старая шкатулка недалеких – пыльными реликвиями. Так развлекались жители Башни и новоприбывшие вроде нас. Но в этой новой игре я вообще ничего не понял. Мне запомнилось лишь, как мы сидели, ошеломленные, и искали свои дома. Засматривались на воссозданные с невероятной точностью детали родных дворов. Даже ржавая канистра для чистой воды, стоявшая у задней стенки моего дома, – и та обнаружилась на своем месте. От такого становилось не по себе. Казалось, что те, кто воссоздал этот макет, знают о тебе все, все секреты и тайны, и даже те внутренние канистры, которые стоят на заднем дворе сознания и о которых не знает даже никто из друзей.

А потом снова заговорил голос.

– Наступает темная пора. Играет громкая музыка. Вы запоминаете город и закрываете глаза.

Меня удивило, как он сказал: «Играет громкая музыка», когда никакой музыки не было. Стояла тяжелая, жаждавшая разрядки тишина, и даже троллейбусы в маленьком городе не издавали звуков, трогаясь со своих остановок.

Инкерман сидел возле самого Левого моря, Тори – у Правого, Феодосия – посередине. Стул Керчи находился на окраине, где мы любили отдыхать, и я обратил внимание на странное отличие маленького города под нами от настоящего Севастополя: на фиолетово-черном пустыре не оказалось никакой Башни. Это была равнина, безжизненная и пустая, лишь беспомощно тонкие черные прутики изображали сухой куст. Во всем этом присутствовал какой-то

зловещий символизм, но я не мог понять какой. Передо мной лежал весь наш город, все, что в нем было, и другого быть не могло. Но каким он стал, каким он нам увиделся теперь!

Стул, на котором сидел я сам, возвышался над Точкой сборки, за моей спиной была чернота, перед глазами – весь город. Я мог бы дотянуться вниз рукой и схватить Точку сборки, вырвать ее из поверхности – или хотя бы попытаться. Но было страшно. Я лишь всмотрелся во флаг красного цвета, который украшал маяк. В реальности флага не было, и тем любопытнее стало, зачем он здесь, что означает. Но черные буквы, которые обнаружил на флаге, ни о чем мне не сказали. Там было написано «Севмаф». Я закрыл глаза.

– Город устал от земных дел, он поднимает голову и смотрит в небо, – продолжил голос. – И вы смотрите в небо. Вы смотрите в ставшее черным пустое небо.

Сперва мы молчали, лишь тяжело дыша. А потом голос снова заговорил, но гораздо громче, чем прежде. Мне почудилось, будто в нем проснулся гнев, проснулась сила.

– И только один не смотрит, – громогласно объявил он. – Только один!

Почему-то я совсем не раздумывал; сомнений не было: кому, как не мне, быть этим одним? Я осторожно осмотрел своих друзей, но вместо глаз увидел лишь вздернутые подбородки.

– Город смотрит в небо, весь город смотрит в небо, – снова став мягким, голос убаюкивал моих друзей, гипнотизировал их. Но не меня: я жадно всматривался в улицы, я представил себя бегущим по ним, летящим над ними, я видел каждый уголок и весь Севастополь. Я не знал, что мне нужно увидеть, я искал.

– Город смотрит в небо и не видит, – вкрадчиво продолжал голос. – Совсем не видит, потому что не туда смотрит.

Я ускорил «бег» своих глаз, мобилизовал все внутренние силы, я сосредоточился на городе, на моем родном городе, забыв, что есть что-то еще. Но я все равно не видел.

– Чего не видит? – не выдержал, закричал я и тут же, едва закрыв рот, наткнулся взглядом на маленькую фигурку – она шустро перемещалась по улицам, пересекая перекрестки и лишь изредка останавливаясь возле калиток. Фигурка тянула голову, заглядывала за заборы.

– Как едет мелик, – раздался подобный грому торжествующий голос сверху. И я содрогнулся. Действительно, у маленькой фигурки в ногах было белое колесо. Это казалось невероятным: никогда в Севастополе никаких колес не было – не было и не могло быть.

– Это неправда! – воскликнул я.

– А что он делает? – не обращая внимания на мою реплику, спросил голос.

Я наблюдал за человечком на колесе. Разглядеть его лицо было невозможно, но я увидел кучерявые волосы на его голове: похоже, человек давно не стригся. И опять же, у нас в Севастополе так никто не ходил. Откуда мог взяться этот странный человек в реальном Севастополе, зачем он там? «Но это не мой город, это только его модель, – успокаивал я себя. – Этого нет, нет». А кучерявый человечек выехал на Широкоморку и стремительно двигался куда-то в сторону стула Фе.

– Он смотрит, нет ли избранных, – пояснил голос. Он стал заметно тише, и во мне родилось подозрение, что его последние слова слышал лишь я один. – Нет ли в городе избранных.

Внезапно в центре города, прямо под стулом у Фе, что-то вспыхнуло настолько ярким светом, что я не смог его терпеть и зажмурился. Но свет проникал и через закрытые веки, он ослеплял собой – глазу и голове стало вдруг нестерпимо больно, а потом...

Потом началась третья игра. Но она оказалась самой неинтересной. На сей раз мы никуда не летели, после вспышки ослепляющего света глазам вдруг стало мягко и тепло, и я опасливо открыл их. Мое положение в пространстве не изменилось: я все так же сидел на стуле, а стул располагался на твердой поверхности. Но изменилось само пространство. Да и стул оказался совсем другим – он уже не возвышался и не поражал своим размером, это был обычный стул для обычного человека, каким, конечно же, я и являлся. Вокруг было темно, только столп

бледно-желтого света освещал меня, сидевшего на стуле, очерчивал круг на черном полу. В правой руке я нащупал рычаг.

Мне не с кем было говорить, советоваться – я не видел и не слышал никого из своих друзей, – мне нечего было делать еще, не на что даже смотреть. И я дернул рычаг. Пространство развернулось передо мной объемными кубиками и сложилось в цельную объемную картинку, которую я сразу же узнал.

Это было подземелье. Позади меня уходил вдаль узкий коридор, по которому мы попали в первое помещение Башни, оставив позади Левое море, пещеру, факелы. Впереди – пять кресел, приготовленных для нас, маленький зал с высоким потолком и трибуну, за которой стояла женщина. Конечно, я узнал Ялту – она смотрела на меня и улыбалась, но ничего не делала, не говорила. Странная картина, открывшаяся мне, была предельно четкой и правдоподобной, но совершенно неживой. Она была застывшей. Дотянувшись до изображения я касался стены. Я не мог проникнуть в это изображение и не мог выбраться из вакуума, в котором оно зажало меня. Все, что я мог, – дергать рычаг. Снова и снова.

И картинки менялись. Пространство поворачивалось другими углами, и я видел кабину социального лифта с приготовленными для нас местами, видел узкий коридор, в котором наша компания приходила в себя, широкий проспект Башни, зал хранителя ламп, Луча. Я снова наблюдал места, которые мы прошли и увидели, находил людей, которых довелось здесь повстречать, но ни один не вышел, не заговорил со мной – потому что никого из них здесь не было, все они были бесконечно далеко от этого места. Иногда последовательность менялась – например, после ламп я сразу видел движущуюся лестницу, а затем пространство и вовсе повело себя странно: дважды повернулось полностью черными сторонами, вернув темноту, с которой все начиналось. Но только в этой темноте – на каждой из ее граней – появились странные двухмерные изображения: какое-то серое существо с маленьким хоботом, напоминавшее диковинного зверя из фантастических книг Керчи, сидело, сложив тонюсенькие ручонки на огромном бесформенном и складчатом животе. Оно смотрело прямо на меня глазками – блестящими пуговками, словно чего-то ждало. Я тоже ждал, но ничего не происходило, и тогда я снова жал на рычаг. Несколько раз существо появлялось снова, и я уже не ждал от него никаких действий, понимая, что это бесполезно.

Таким образом я снова побывал в сопутке, в зале вотзефаков и «Салюте», посмотрел на Электроморе, «холодильник», так смешно преобразивший Инкера и так тонко и интересно – Фе. Но самих своих друзей я не увидел ни разу, словно бы их и не было со мной. Я поймал себя на мысли, что некоторые застывшие картины приносили мне радость, успокоение – было приятно снова увидеть места, в которых я был – пусть и казалось, что я только что их покинул. Но было странное чувство: я как будто скучал по ним.

Больше в этой игре ничего не было. Показав добросовестно все, что я видел в Башне, и не удивив ничем новым, пространство, менявшее изображения, исчезло, как будто растворилось в воздухе или вовсе привиделось мне. Включился свет, и я увидел, что нахожусь в небольшом пустом зале наподобие того, где мы вместе с жителями Башни смотрели фильм о них же. Только здесь не было кресел, да и самих резидентов не было, если не считать нас, конечно. Все мои друзья сидели рядом, на таких же стульях, в тех же обитых черными тканями стенах. Напротив нас был проем, завешенный белой тканью, из-за которой струился более яркий свет и доносился шум – похоже, мы вновь возвращались к жизни. Я оглядывался и рассматривал все вокруг, надеясь понять, какими средствами был достигнут весь этот эффект, организовано такое сумасшедшее приключение, которое нашей компании довелось пережить. Но так и не понял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.